
35. <СТАТЬИ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ>

Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные. Москва. 1818.

Древние русские стихотворения(,) служащие в дополнение (дополнением?) к Кирше Данилова(у?). Собранные М. Сухановым. СПб. 1840.

Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Т. 1, кн. 1, 2, 3, 4. Издание третье. СПб. 1841.

Русские народные сказки. Часть 1. СПб. 1841.¹

СТАТЬЯ I²

Общая идея народной поэзии

«Народность» есть альфа и омега эстетики нашего времени, как «украшенное подражание природе» было альфой и омегой эстетики прошлого века. Высочайшая похвала, какой только может в наши дни удостоиться поэт, самый громкий титул, каким только могут теперь почтить его современники или потомки, состоит в слове «народный поэт». Выражения: «народная поэма», «народное произведение» часто употребляются теперь вместо слов: «превосходное, великое, вековое произведение». Волшебное слово, таинственный символ, священный иероглиф какой-то глубоко знаменательной, неизмеримо обширной идеи,— «народность» заменила собою и творчество, и вдохновение, и художественность, и классицизм, и романтизм, заключила в одной себе и эстетику и критику. Короче: «народность» сделалась высшим критериумом, пробным камнем достоинства всякого поэтического произведения и прочности всякой поэтической славы. Но все ли, говоря о народности, говорят об одном и том же предмете? не злоупотребляют ли этим словом, понимают ли его истинное значение? Увы! С «народностью» действительно сделалось то же, что некогда произошло с «романтизмом» и со многими другими словами,

которые потому именно и утратили всякое значение, что слишком расширились в значении, которые потому именно сделались непонятными ни для кого, что казались всем слишком понятными! Чтобы уяснить значение слова «народность», мы должны изложить процесс исторического развития идеи, заключающейся в этом слове, должны показать, когда начали думать о «народности», что разумели под нею прежде и что должно разуметь под нею в наше время.

Было время, когда все литературы только из того и бились, чтоб не быть народными, но быть подражательными. Подражательность в литературе рождена римлянами. Народ практический, народ меча и закона, римляне были обделены природою эстетическим чувством. Республика по справедливости могла гордиться своим энергическим и благородным красноречием, которое родилось, выросло и расцвело на республиканской почве, вместе с гражданственностью, и которое с монархией переродилось в риторику; но республика не имела поэзии как искусства: вся ее поэзия заключалась в гражданской доблести, в великих делах и подвигах свободного и могучего народа. О поэзии как искусстве римляне узнали от греков, которые, умерши в настоящем, жили своим великим прошедшим, в настоящем бесславии утешались прошедшею славою и, за неимением всякого другого дела, изучали в школах памятники поэзии цветущего времени своей истории, которое навсегда прошло для них. Завоевав труп некогда столь прекрасной Эллады, варвар-римлянин впервые, так сказать, столкнулся с гением ее дивного искусства и обошелся с ним истинно по-варварски: известно, что консул Муммий, сожегши и разграбивши великолепный Коринф, отправляя в Рим статуи и картины, сделал с перевозчиком условие, по которому тот, в случае утраты статуи или картины, обязывался представить взамен такую же, а попорченную исправить на свой счет. Однако ж, несмотря на ненависть Марка Катона к греческой философии и учености, вкус к ней начал быстро распространяться в Риме. Знаменитые люди Рима той эпохи воспитываются греческими выходцами; изучение греческой литературы делается необходимою для образованного римлянина. Но римская поэзия началась не прежде, как когда Август затворил храм Януса и мертвым обманчивым покоем заменил кровавые волнения республики.¹ Отпущенный холоп Гораций называл себя подражателем Пиндара и, посвятив свою сговорчивую музу хвалению своего доброго барина, благодетеля, отца и заступника — Мепената, ввел в моду поэзию прихожих, которая так восхитила французам до времен Восстановления.² Виргилий потщился явить в своем лице римского Гомера — и, *чахоточный отец немного тощей «Энеиды»*,³ он с большим успехом перепородировал

божественную «Илиаду» и — как говорили эстетики прошлого века — весьма удачно *подражал* Гезиоду и Теокриту. Более его поэтический Овидий передавал в своих стихах поэтически предания эллинской мифологии.¹ Впрочем, рабство римлян в поэзии не было результатом только политического унижения: национальный дух римлян всегда был чужд поэзии, и истинная латинская литература заключается в памятниках красноречия и исторических сочинениях, между которыми достаточно указать только на записки Юлия Цезаря и летопись Тацита, чтобы увидеть великое значение латинской литературы. Но тем не менее, подражательная латинская поэзия стала на ряду с греческою в глазах новейшей Европы. Последний представитель французской критики, Лагарп, отдавая «Илиаде» преимущество пред «Энеидою», — преимущество в силе, — «Энеиду» ставит несравненно выше «Илиады» со стороны изящества.² Вероятно, первою причиною этого было то, что новейшая Европа с латинскою поэзиею познакомилась прежде, чем с греческою. Из латинского языка образовались почти все новоевропейские языки, кроме немецкого, и латинский язык был богослужебным языком новейшей Европы, которая на нем приняла книги священного писания. Схоластическое направление европейской учености средних веков также много способствовало преобладанию духа латинской поэзии. Французы, гордые новым просвещением, основанным на изучении древности, отверглись от преданий средних веков и всех романтических элементов, столь родственных их национальному духу, как и вообще духу всей новейшей Европы, возмечтали создать себе литературу, основанную на подражании греческой, которой они несколько не понимали (потому что не понимали никакой истинной поэзии), и латинской, которая более соответствовала их практическому, социальному духу. «Ars poetica»* Горация родила «L'Art poétique»** Буало, которое и сделалось с того времени кодексом, алкораном их эстетики. Но, думая подражать грекам в трагедии, французы и тут, на зло себе, оставались французами: их трагедия столько же походила на драматические поэмы Софокла и Эврипида, сколько придворные Людовика XIV походили на Агамемнонов и Клитемнестр героической Греции. Чтобы сделать подражание как можно ближе к подлиннику, они не только навязали греческим и римским героям и героиням лобезность и лобезничанье, сантиментальность и надутость своих маркизов и маркиз, но даже и одели их в огромные парики, штытые кафтаны и робы с фижмами, а на лица налепили множество мушек. В подражании латинской поэзии французам удалось лучше: если сантиментальные эклоги их идилликов —

* «Наука поэзии» (латин.). — *Ред.*

** «Поэтическое искусство» (франц.). — *Ред.*

г-жи Дезульер, Флориана и других — уж чересчур были пошлы даже в сравнении с эклогами Виргилия, — зато «L'Art poétique» и сатиры Буало едва ли были ниже «Ars poetica» и сатиры Горация, а Вольтерова «Генриада» решительно ничем не уступает Виргилиевой «Энеиде». Кроме многих других причин, переход французов к подражанию древним был очень понятен еще и как противодействие сантиментально-аллегорическому направлению их литературы, которым ознаменовалась эпоха, разделявшая средние века от новейшей истории. Не удивительно, как покорились влиянию французского вкуса немцы, которые совсем не имели литературы, когда у французов уже была литература; но удивительно, как покорились влиянию французского вкуса англичане, которые имели Шекспира, когда еще у французов не было даже и Корнеля, а были только Ронсары, Сюдери и подобные им. Конечно, причиною этого должно полагать сосыательное влияние Франции на Европу, которое и теперь продолжается, как и всегда будет продолжаться: в деле живой, общественной литературы французы всегда были и всегда будут впереди всех. И в своей рабской подражательности непонятым образцам древних литератур французы оставались верными себе, были национальны в духе, будучи подражателями в словах и внешних формах; но англичане, в лице Драйдена и Попе, отказались сами от себя, и их подражательная литература была пустоцветом в полном смысле этого слова. Но вдруг всё изменилось. Восстал от апатического усыпления национальный гений немцев. Энергический Лессинг — этот литературный Лютер — мощно восстал против французского направления и победоносно низверг его.¹ Самобытные гении Гёте и Шиллера взойшли на небосклоне юной германской литературы блестящими солнцами, которых живительные лучи оплодотворили почву национального гения. Романтическая школа Шлегелей явилась крестовым походом на классический исламизм, — и один из этих примечательных поборников романтизма сразился с классицизмом в самой столице его — Париже.² Национальный гений Англии также воспрянул снова, и, в лице Байрона, явился у ней новый титан поэзии; Вальтер Скотт создал совершенно новую поэзию, — поэзию прозы жизни, поэзию действительной жизни. Сама Франция отказалась от своих вековых предубеждений, изменила своей национальной гордости и отреклась от богов своего Парнаса, которые доставили ей владычество над всею Европою. И всё это было сделано ею во имя «романтизма». Представители ее нового направления назвались «романтиками» и для дикого мрака средних веков навсегда расстались с светлым небом Эллады и Авзонии. Что же такое был этот романтизм? В каком отношении находился он к классицизму? Каким

образом одна крайность так быстро, без всякой постепенности, без всякого посредствующего перехода, могла заменить другую, враждебною и противоположною себе крайностию?.. Но точно ли эти крайности так враждебны друг другу, что между ними нет ничего общего, нет никакой возможности примирения?.. Или, не к стати ли здесь вспомнить очень умную французскую пословицу: les extrêmes se touchent?..* В самом деле, не охладели ли мы теперь и к самому романтизму, как еще недавно и так внезапно охладели к классицизму? — Что ни говорите, но слово «романтизм» уже редко встречается теперь в наших критиках и эстетиках; оно уже потеряло для нас свое прежнее значение, уже не служит ответом на все вопросы... Скажем более: «романтизм» давно уже уволен в чистую, давно на покое, хоть и избитый, измученный, израненный, — и не столько своими врагами, сколько поборниками... Это преинтересная история, которую надо исследовать критически... Помним мы, что «романтизм» в своем начале шел об руку с «народностию», часто был принимаем за одно с нею; но — увы! — его уже нет, этого прекрасного молодого человека, столь энергического и пламенного, хотя немного и с растрепанными чувствами; его уже нет, а «народность» всё еще скитается каким-то бледным призраком, словно заколдованная тень, и, кажется, еще долго ей страдать и мучиться, долго играть роль невидимки, какого-то таинственного незнакомца, о котором все говорят, на которого все ссылаются, но которого едва ли кто видел, едва ли кто знает... Взглянем же прямо в лицо этому призраку, чтобы познакомиться с ним настоящим образом, узнать все его приметы, уловить настоящую его физиономию и тем положить конец его «инкогнито».

Во всяком понятии заключаются две стороны, повидимому, враждебные между собою, но на самом деле единственные: стороны, которые, повидимому, никогда не могут сойтись между собою, но тем не менее непременно должны примириться и слиться друг с другом и образовать уже полное и органическое понятие. Это примирение совершается не вдруг, но чрез постепенное развитие; оно бывает плодом разделения, раздвоения, борьбы; оно совершается по законам необходимости, в жизненном, органическом процессе. Этим понятие, или философская мысль, идея, и отличается от простого представления. Представление есть нечто внешнее, готовое, неподвижное, без начала, без конца, без развития. Понятие (мысль, или идея) есть нечто живое, заключающее в себе силу органического развития из самого себя, способное совершить полный круг развития в самом себе, следовательно, выходящее из самого себя и заключаю-

* крайности сходятся (франц.). — Ред.

щееся самим же собою. Представление может быть сравнено со всяким неорганическим предметом в природе; понятие может быть сравнено с зерном, которое заключает в себе живительную силу, развивающуюся в ствол, ветви, листья и цветы растения, и которое, совершив полный круг своего развития, снова делается зерном. Живое, истинное понятие есть только то, которое носит в самом себе зародыш борьбы и распада, в котором заключается возможность деления на самого себя, и потом примирения с самим собою; всякое другое есть или понятие мертвое и ложное, или простое, эмпирическое представление. Процесс развития живого понятия — следующий: ум наш сперва принимает только одну сторону понятия; другую, противоположную ей, отвергает, как ложь. Приняв за истину одну сторону понятия, ум доводит ее до крайности, которая впадает в нелепость и тем самым отрицает себя: это первый акт процесса развития идеи. Увидев ложь в доведенной до крайности стороне понятия, ум отрицает эту сторону и бросается непременно в противоположную ей сторону, которую также доводит до крайности, а следовательно, и до необходимости отрицания: это второй акт процесса развития идеи. И вот понятие распалось на две противоположные и враждебные стороны, которые нельзя помирить никаким посредствующим, третьим понятием — иначе примирение будет натянутое и внешнее. Между тем, несмотря на свою враждебную противоположность, обе стороны разделившегося понятия не могут равнодушно расстаться или положиться на посредничество чуждого им понятия; они борются между собою; ум уже не признает решительно ложную или решительно истинную ни одной из них и то переходит к той, то к этой, — как вдруг начинает замечать, что в каждой из них есть своя доля истины и своя доля лжи и что для искомой им истины они обе, так сказать, нуждаются друг в друге, обе проникают и ограничивают себя взаимно: это третий акт процесса развития понятия. Наконец, ум ясно видит, что обе противоположные крайности не только не чужды одна другой, но даже родственны, что они — только две стороны одного и того же цельного понятия, что они ложны только в своей отвлеченной односторонности, но что искомым истинным заключаются в их примирении, в котором они сливаются друг с другом и образуют новое и целое понятие: это последний акт процесса развития понятия. После этого акта понятие, так сказать, находит самого себя, но уже развившимся, совершившим свой жизненный процесс, сознавшим себя: это зерно, которое, прошедши все фазисы развития, снова стало зерном. Скажут: в этом нет еще большой важности, что зерно снова стало зерном. Так, но, для верности сравнения, нам должно условиться, что здесь дело идет о зерне незнакомом:

то ли же оно будет в наших глазах, когда мы снова увидим его, уже зная, какое растение из него выходит и какой цвет дает оно?..

Смотря с этой точки зрения, мы увидим, что французский псевдоклассицизм и отчаянный романтизм юной словесности Франции суть две стороны одного и того же понятия и что в примирении этих обеих сторон заключается истинная идея искусства нашего времени. Мы увидим, что как классицизм, так и юный романтизм французской литературы, сами по себе, в своей односторонности, суть ложь, хотя и в каждом из них есть своя сторона истины. Равным образом, мы увидим, что и понятие о «народности» само по себе есть также ложь, что оно есть только одна сторона другого, высшего понятия, противоположная сторона которой есть «общность в смысле человечества». Да, мы увидим, что националисты в литературе имеют значение только как противники поборников безразличной всеобщности, которая, думая быть доступною всему человечеству, нема и мертва для человечества. Всё сказанное нами очень легко пояснить в приложении к истории классицизма и романтизма.

Основание псевдоклассической французской теории заключалось в понятии, что искусство есть подражание природе, но что природа должна являться в искусстве украшенной и облагороженной. Вследствие такого взгляда, из искусства были изгнаны естественность и свобода, а следовательно, истина и жизнь, которые уступили место чудовищной искусственности, принужденности, лжи и мертвенности. Форма перестала быть явлением духа, но сделалась, так сказать, футляром отвлеченных представлений, ошибочно принимавшихся за идеи. Солдаты заговорили одним языком с полководцами, земледельцы и поденщики — с парями, слуги — с господами; пастушки оделись в фижки и испестрили свои лица мушками; книжсены, менуэтная выступка, театральные позы и надутая декламация сделалась вывескою и необходимым условием «украшенной и облагороженной природы». Чтобы не слишком резко противоречить себе, поэты и теоретики нового классицизма исключили из поэзии простолюдинов и мещан и дали в ней место только парям, их придворным и героям благородного происхождения. Так как современная жизнь не давала материалов для поэзии, то все бросились на греков и римлян, одетых в кафтаны и робы маркизов и маркиз. Не было оригинальности, не было «народности»; действительные лица были заменены отвлеченными призраками, не принадлежавшими ни к какой стране, ни к какому веку. Даже комедия, на долю которой оставили современность, даже и комедия не представляла действительных лиц, а выдумывала призраки, олицетворяя ими сентенции мелкой ходячей морали о добродетелях и пороках. Но вдруг всё

изменилось, когда самостоятельный гений германской нации разбил оковы псевдоклассицизма и низложил во прах, с алтарей храма искусства, миниатюрные восковые статуйки Корнелей, Расинов, Мольеров, Буало, Вольтеров, Дюсисов и Кребльонов с братиею. Благодаря немцам, вся Европа узнала Шекспира, которого Вольтер заклеил прозвищем «пьяного дикаря». ¹ Мало того, немцы доказали, что древние были оклеветаны, что Аристотель и во сне не думал утверждать нелепости, во имя его распространенные французами, что поэзия греков запечатлена духом Греции, есть полное выражение ее народности, зеркало ее действительности. Вследствие этого, народность была провозглашена необходимым условием всякой поэзии. Вместо греков, образцом сделался Шекспир, как поэт нового, нашего, христианского мира. На искусство стали смотреть не как на подражание природе, но как на воспроизведение действительности, как на творчество новой, высшей действительности. В самой Франции не замедлила возгореться кровопролитная война на перьях между классиками и романтиками. ² Дружина молодых и рьяных талантов основала там свою романтическую школу, которая, как реакция псевдоклассицизму, так же ложно поняла романтизм, как прежняя школа ложно понимала древнюю классическую поэзию. В новом французском романтизме действительность не только сбросила с себя парики, кафтаны, фижмы и мушки, но и всякое одеяние, явилась нагою и цинически естественною. Если классицизм французов походил на младенца в английской болезни или на восковую статую с стеклянными глазами, то романтизм их стал походить на буйную вакханку с бесстыдным упоением в горячем взоре, с растрепанными волосами, исступленными и дикими движениями или на австралийского дикаря, пирующего на костях съеденных им врагов. Конечно, преимущество на той стороне, где есть жизнь, и буйная вакханка или опьянелый от вражеской крови дикарь поэтичнее восковой статуи; но тем не менее, французский романтизм может иметь значение больше как реакция ложному классицизму, нежели как истинная поэзия. Мало того: даже идеальный и возвышенный романтизм Шлегелей важен больше как реакция псевдоклассицизму, нежели как истинная поэзия, — и вот причина, почему братья Шлегели пережили сперва с таким успехом и так энергически проповедываемый ими романтизм. В самом деле, кому теперь придет охота, забывши целую историю человечества и всю современность, искать поэзии только в католических и рыцарских преданиях средних веков?.. И по тому, как быстро бросились на эти средние века, так скоро и догадались, что Восток, Греция, Рим, протестантизм и вообще новейшая история и современность имеют столько же прав на

внимание поэзии, сколько и средние века, и что Шекспир, на которого Шлегели, по странному противоречию с самими собою, думали опираться, был не столько романтиком, сколько поэтом новейшего времени, поэтом полной действительности, а не одного какого-нибудь из ее моментов. А между тем, заслуга Шлегелей всё-таки велика: не впади они в свою односторонность, — более жалкая и более ложная односторонность французского классицизма не была бы испровергнута.

Борьба классицизма и романтизма, ознаменовавшая движение европейских литератур в конце XVIII и начале XIX века, отразилась и в русской литературе. Так как мы думаем, что изложенные нами идеи будут для читателей понятнее и яснее в применении к отечественной литературе, то и обратимся к ней, оставив Европу, о которой мы уже сказали сколько нужно для связи и последовательности нашего рассуждения.

Всем известно, что, исключая Крылова, до Жуковского и Батюшкова наша поэзия была неудачным подражанием французской. ¹ Говорим — *неудачным*: ибо, заимствовавши все недостатки своего образца, она не заимствовала у него ни гладкого и звучного стиха, ни образованного языка, ни внешнего изящества. Жуковский познакомил нас с немецкою литературою; но как в его время не было еще на Руси журналов в смысле проводников новых идей в обществе, — то его нововведение осталось без результатов, исключая разве то, что наши пииты, попрежнему не переставая греметь торжественными одами и варварскими виршами, закалывать Атридов и Брутов, затапули еще нескладными голосами кладбищенские баллады. Что до Батюшкова, — господствовавший тогда дух подражательности обессилил его самобытное и прекрасное дарование, развывшееся не на национальной почве. С двадцатых годов, т. е. с появления Пушкина, и у нас была объявлена война классицизму. Хотя Пушкин и был провозглашен главою и хорегом наших романтиков, но, как истинный гений, подобно Байрону, Вальтеру Скотту, Гёте и Шиллеру, он пошел своей дорогою, по которой было не угоняться за ним нашим романтикам: они брали у него, для своих произведений, русские имена, ножи, кинжалы, яд, внешнюю гладкость и легкость стиха, но даже и не дотрогивались до его поэзии и идей. И потому-то, кроме Грибоедова, дарования самобытного и оригинального, всё остальное даже не имеет права на упоминание при его имени, как предмет, не имеющий с ним ничего общего. Критики того времени безуслвно восторгались произведениями Пушкина до той самой поры, как гений его возмужал: не подозревая того, что он им стал уж слишком не по плечу, они, по свойственному человеческой слабости самолюбию, заключили, что он пал. Вот ясное доказательство, что или Пушкин не был главою наших

романтиков, или что наши романтики не имели с ним ничего общего. Кажется, что то и другое равно справедливо. Тем не менее ясно, что Пушкин произвел литературную реформу и увлек за собою толпу, хотя она и несколько не понимала его. В тридцатых годах число прозаиков стало превышать число стихотворцев. Все ударились в прозу и сделались романистами и нувеллистами. Впрочем, начало этого прозаического движения восходит гораздо ранее тридцатых годов. Новая повесть явилась вместе с блестящим Марлинским и тотчас объявила претензии на «романтизм» и «народность». Но пока весь ее романтизм состоял в замене пошлой сантиментальности риторических повестей классического периода нашей литературы какою-то размахистостью в языке и чувствах, а вся ее народность состояла в том, что она начала брать содержание из русской исторической и современной жизни. Но романтическая кипучесть чувств была не более истинна, как и водяная чувствительность «Бедной Лизы» и «Марьиной рощи»: та и другая были равно натянуты и неестественны, а народность состояла в одних именах. В последнем отношении новая русская повесть столько же выражала содержание русской жизни, сколько французская трагедия выражала содержание греческой и римской жизни. Это точь-в-точь забытая теперь драма г. Хомякова «Ермак»: имена в ней не только русские, но даже исторические русские, а дух и склад речи принадлежат идеальным буршам немецких университетов; и русского духа в ней слыхом не слышать, видом не видать. Правда, новая русская повесть иногда удачно передражливала русскую речь, не скупясь на пословицы и поговорки, а иногда и на летописные выражения, взятые из истории Карамзина; но эта речь несколько не выражала русского духа, а только, подобно меди звенящей и кимвалу бряцающему, поражала один слух—точь-в-точь, как в другой драме г. Хомякова — «Димитрий Самозванец». Тем не менее, иован повесть заслуживала уважение по похвальному, хотя и недостигаемому стремлению к народности. Она не довела поэзии нашей до настоящей русской повести, но приготовила толпу к уразумению ее. Еще Марлинский далеко не кончил своего поприща, как явился на сцену литературы роман с претензиями на народность, иравоописательность, нравственность и на многое, чего и тени в нем не было; но нижние слои толпы, увидев, что действующие лица романа называются Иванами и Петрами и титулуются по отчеству, охотно поверили русскому происхождению романа и раскупили его.¹ Вслед за тем не замедлил явиться и исторический русский роман той же фабрики и той же пробы,— и участь его была та же: сначала приняли его по имени, а после поступили как с пройдохой и самозванцем.² Здесь мы должны воротиться несколько назад. Повесть

и роман, о которых мы доселе говорили, силились быть народными, не унижаясь до простонародности. Вместе с Марлинским являлись и повести г. Полевого. Они в свое время были замечены публикою, но не имели такого блестящего успеха, как повести Марлинского, хотя были и не хуже, если еще не лучше, их: не отличаясь фантазией, они отличались умом и не были чужды чувства; язык их был простой, не натянутый, обработка литературная. По в то же время писал повести и г. Погодин. Он хотел продолжить себе свою дорогу и, во что бы то ни стало, сделать повесть русскою донельзя, и — надо отдать ему полную справедливость—г. Погодин успел сделать для повести гораздо больше, чем А. Измайлов для басни: народность его повестей еще ужаснее, чем народность басен г. Измайлова.¹ Отселе начинается в нашей литературе новое стремление к той народности, отцом которой был почтенный «отставной квартальный, советник титулярный» Измайлов.² «Юрий Милославский» против своей воли утвердил это жалкое направление: разманенные чрезвычайным успехом этого романа, бездарные писатели подумали, что всё дело тут в лычной обуви, сермяжной одежде, бородах и плоских поговорках действующих лиц; они не заметили ни занимательности, ни теплоты рассказа г. Загоскина, ни самой умеренности его в изображении простодушной народности. Как бы то ни было, но с «Юрия Милославского» начинается как бы новая эпоха нашей литературы: с одной стороны, являются истинно народные и поэтические повести Гоголя; сам Пушкин, незадолго перед тем напечатавший превосходную главу из предполагавшегося им романа («Арап Петра Великого»), начинает обращаться и к прозе и пишет впоследствии «Пиковую даму», «Капитанскую дочку» и «Дубровского». Вскоре же после «Юрия Милославского» является поэтический роман Лажечникова «Новик»,³ за ним — другие романы Лажечникова. «Кощей бессмертный» и «Святославич»⁴ г. Вельтмана — создания, странные в целом, но блестящие яркими проблесками национальной поэзии в подробностях, относятся к этому же периоду русской литературы. С другой стороны, ложно понимаемая народность разлилась огромным болотом, тщанием и усердием пишущей братии низшего разряда. Мужики с бабами, кучера и куницы брадатые не только получили право гражданства в повестях и романах этих господ, но и сделались их единственными, привилегированными геронми. Удачное подражание языку черни, слогу площадей и харчевен сделалось признаком народности, а народность стала тождественным понятием с великим талантом, поэзией и «романтизмом». Это направление явилось господствующим особенно в Москве. «Разгулье купеческих сынков в Марьиной роще»⁵ получило там идеальное достоинство народной

эпопей. *Ваньки* и *Степки* с разбитыми рылами и синяками под соколиными очами стали вывозиться напоказ даже в Лондон и Мадрид, чтоб там «тосковать по родине», т. е. по соленым огурцам и сивухе.¹

Но теперь уже начинают чувствовать цену *такой* народности; теперь уже называют ее простонародностью и площадностью. Между тем, даже и такое народное направление было необходимо и принесло великую пользу. Выше сего сказали мы, что всякое живое понятие открывается людям сперва в своих крайностях, которые истинны, как содержание понятия, но ложны, как его односторонности. Французский псевдоклассицизм был ложен как абсолютная идея искусства, но и в нем была своя сторона истины. Искусство, действительно, не есть и не должно быть природою, как она есть, но природою облагороженною, идеализированною. Только дело в том, что элементы идеализирования природы должны заключаться не в условных и относительных понятиях о приличии в какую-нибудь эпоху общественных отношений, но в вечной и неизменной субстанции идеи. Французский классицизм принял за идеал поэтической действительности не дух человечества, развивающийся в истории, а этикет двора французского и нравы светского французского общества от времен Людовика XIV; украшение природы он понял не как представление действительности сообразно не с самою действительностью, а с требованиями идеи целого произведения, но в китайском значении этого слова: известно, как китайцы уродуют ноги своих женщин, желая их сделать прекрасными, т. е. маленькими. В этом и состояла ошибка французского классицизма. С другой стороны, псевдоромантизм так же точно грешил против истины, требуя в искусстве — природы, как она есть, и забывая, что иная естественность отвратительнее всякой искусственности. Искусство не имеет права искажать природу; оно может и должно быть естественно в своих изображениях; но, во-первых, эта естественность не должна возмущать в нас эстетического чувства; во-вторых, она не должна быть в искусстве главным, не должна быть в нем сама себе целью. В искусстве только идея сама себе цель, а идея просветляет и облагораживает самые возмущающие душу явления действительности; проникая их собою, она *идеализирует* их. Шекспир, в драмах своих «Генрих IV» и «Генрих V», вывел на сцену распутство, вывел пьяного Фальстафа с ватагою негодяев, вывел Квикли и Доль Тиршит — эти отребия женского пола, для которых настоящего названия нельзя приискать в литературном языке, но он вывел их совсем не для того, чтобы усладить ими вкус черни или похвастаться перед публикою своим умением естественно изображать низкие явления действительности, но для того, что ему нужно было представить

как в великой натуре человека величие проглядывает и в самом разврате и как умеет он отрешаться от грязи порока и выходить из нее чистым, когда придет час его, — между тем как натуры слабые и мелкие навсегда остаются в этой грязи, если раз попали в нее. Тут есть идея, и идея великая; тут заключается важный урок для сухих моралистов, которые судят по внешности о нравственности человека, и часто негодяя, благопристойно ведущего себя, принимают за нравственного человека, а человека с искрою божиею в душе, но который, будучи увлекаем кипящею юностью и страстями, на время поскользнется в грязи жизни, клеймят названием «безнравственного». С этой точки зрения, Фальстаф с ватагою, мистрисс Квикли и мисс Доль получают уже другое, высшее, идеальное значение: они занимают место в драме Шекспира, так же как и в самой действительности, не сами для себя; поэт вызвал их ради беспощадной истины, делая, так сказать, невольную уступку действительности, но не для того, чтобы он, не понимая их радости, сам любовался или хотел пленить ими других. Он изобразил их верно, чертами типическими; их язык груб, даже неприличен; но эта грубость и неприличие имеют свои границы, и поэт, много показавши, дает нам догадываться еще о большем. Он не украсил, не смягчил, не облагородил их языка, чтоб не сделать его неестественным; но он *сдержал* его, не позволил ему говорить всего, чтоб не сделать его слишком естественным и потому отвратительным. Сверх того, он смягчает эти сцены комизмом, который, так сказать, прикрывает грубую наготу естественности. Шекспир выводит в своих трагедиях и парей, и придворных, и героев, и мужиков, и мошенников вместе, потому что это смешение существует в самой действительности, но он всякому указывает приличное место, и уж, конечно, муза его берет более обильную дань поэзии с людей высших слоев общества. Нам скажут: в гениальном мужике больше поэзии, чем в слабоумном вельможе. Правда; но правда и то, что если бы этот гениальный мужик получил образование вельможи, он был бы еще гениальнее. Тем-то человек и отличается от животного, что полученные от природы дары он возвышает образованием и знанием и что, без этой обработки, они похожи у него на дорогие материалы в сыром состоянии, на золото в виде руды.

Итак, очевидно, что органическая, живая полнота искусства состоит в примирении двух крайностей — искусственности и естественности. Каждая из этих крайностей сама по себе есть ложь; но, взаимно проникаясь одна другою, они образуют собою истину. Искусственность, как односторонность и крайность, произвела мертвый псевдоклассицизм; естественность, как односторонность и крайность, произвела литературу площадей, кабаков, тюрем, боен, домов разврата. Но та и другая

были необходимы в процессе исторического развития понятия об искусстве: сперва была выразумлена одна сторона понятия, потом другая; но эта другая, при всей своей видимой противоположности с первой, вышла явно из нее же: ибо когда представление, дошед до крайности, впадает в нелепость, то утомленный и оскорбленный ум быстро переходит к совершенно противоположному представлению. Результатом этого перехода опять бывает утомление и оскорбление, ибо и вторая одно-сторонность должна дойти до крайности и, впадши в нелепость, тем самым отрицать себя; тогда ум обращается к первой одно-сторонности, беспрестанно отыскивает ее истинную сторону, которую и примиряет с истинною стороною второй одно-сторонности, и через этот процесс достигает до сознания полной и действительной истины, понятия. В этом примирении ясно видно сродство крайностей. Так было и с искусством: отвергну псевдоклассицизм, мы отвергли и псевдоромантизм и в созданиях гениальных поэтов, на авторитет которых думают опираться мелкие таланты, видим истинное искусство, заключающее и примиряющее в своей органической полноте все свои противоположности.

Обыкновенно народность смешивают с естественностью, тогда как это два совершенно особенные представления: ибо хотя истинно народное не может не быть естественным, но истинно естественное может быть несколько не народным. Сверх того, некоторые из наших писателей, заметив, что европейское образование сглаживает угловатости народности, и смешивая форму с идеею, обратились преимущественно к низшим классам народа. Истинный художник народен и национален без усилии: он чувствует национальность прежде всего в самом себе и потому невольно налагает ее печать на свои произведения. Хотя Татьяна Пушкина и читает французские книжки, а одевается по картинкам европейских модных журналов, но она — лицо в высшей степени русское — и тогда, как мы ее видим «уездною барышней», и тогда, как она является княгиней и светскою дамою. Но для изображения таких благородных личностей нужна гениальность или великий талант: маленьким дарованиям, а особенно посредственности, сподручнее мужики, бабы, лакеи: стоит только заставить их говорить своим языком — и народность готова. И зато мужики и бабы гениальных поэтов бывают благороднее господ и всьмож маленьких дарований и посредственности: няня Татьяны Пушкина, при своей простоте и ограниченности, как изображение, дышит художественною грациею и достолюбезностию; мы смеемся над нею, но любим и уважаем ее; ее простодушная, бессознательная любовь к Татьяне приводит нас в удивление, — и вместе с Татьяною мы вздыхаем над могилою ее бедной няни.

Где жизнь, там и поэзия; но жизнь только там, где идея, и уловить игранье жизни значит уловить невидимый и благоуханный эфир идеи. Для искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек, — и чтобы иметь право на изображение искусства, человеку нужно быть человеком, а не чиновником 14-го класса или дворянином. И у мужика есть душа и сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть, словом — есть жизнь. Но чтобы изобразить жизнь мужиков, надо уловить, как мы уже сказали, идею этой жизни, и тогда в ней не будет ничего грубого, пошлого, плоского, глупого. Вот отчего «Вечера на хуторе» Гоголя, посвященные изображению простого быта Малороссии, дышат такою полнотою художественности, очаровывают такою неотразимою прелестью, такою дивною поэзиею. Но, повторяем, для этого нужен гений и гений, талант и талант. Скажут: гений и талант еще нужнее в изображении жизни высших слоев общества. Нет: если для изображения художественного, то нужен точно такой же талант, как и везде. Но не всякий талант есть художник, а литература состоит не из одних художественных созданий, — и беллетристика — этот насущный хлеб большинства общества, это практическое, житейское искусство толпы — также требует талантов и еще больших талантов. Вот этим-то талантам всего опаснее спускаться в низшие слои общества, откуда вместо народности они могут вынести только грубую простонародность; и им-то всего лучше братья за изображение средних и даже высших слоев общества, где жизнь разнообразнее, обширнее, отношения человечнее, утонченнее, многосложнее, игривее, глубже. В беллетристике внешняя цель может иметь и большую пользу и важное значение, тогда как в искусстве одна цель — само искусство. Теперь, если беллетристический писатель, выводя на сцену чудачков, невежд, подлецов, даже самую чернь, имеет в виду действовать на образование общества, пускать в оборот человеческие понятия, новые мысли, — я низко кланяюсь ему, если он делает это с талантом: его место высоко, его призвание священно, его имя честно и славно. Но когда он рисует грязь общества, подонки народа, не для чего иного, как для того, чтобы самому насладиться и пленить меня этим зрелищем, — то чем естественнее, чем правдоподобнее будут его изображения, тем они для меня отвратительнее и бессмысленнее. Не должно забывать ни на минуту, что герой искусства и литературы есть человек, а не барин, и тем более не *музык*. Если Шекспир давал место в своих драмах всем людям без разбора, — он это делал потому, что видел в них людей, а отнюдь не по пристрастию к черни. Предпочитать мужиков потому только, что они мужики, что они грубы, но неприятны, невежественны, предпочитать их образованным клас-

сам общества — странное и смешное заблуждение. И сам гений в изображении жизни черного народа всегда найдет меньше элементов поэзии, чем в образованных классах общества: беллетристический же талант не найдет в жизни черни никакой поэзии. Впрочем, мы далеки от того, чтобы отнимать право у талантливого литератора касаться жизни простого народа; но мы требуем только, чтобы он это делал не по любви к мужицкому жаргону, не по склонности к лохмотьям и грязи, но для какой-нибудь цели, в которой была бы видна человеческая мысль. Объясним это примером. Г-н Погодин написал некогда повесть «Черная немочь», которая в свое время обращала на себя внимание публики, подобно многим, теперь забытым произведениям. В этой повести действуют кушцы, попады, батраки и подобный тому люд; язык ее блещет всеми красотоми, свойственными языку подобного общества; но повесть всё-таки заслуживает похвалу по своему намерению. Главный герой ее — молодой человек, сын кунца, томимый святою жаждою знания. Окруженный действительностью, от которой страждет обоняние, зрение и человеческое достоинство и которая автором скопирована во всей ее наготе и естественности, — он погибает жертвою этой грязной действительности. Правда, герой изображен не совсем естественно, довольно слабо, без теплоты и увлекательности; но мы говорим не о таланте (а таким предметом не погнушался бы и гений), но о добром намерении сочинителя. За это доброе намерение повесть может быть сочтена за заслугу со стороны г. Погодина русской литературе. То же можно сказать и о его маленькой повести «Ничий». Но когда г. Погодин стал рассказывать, как купеческая дочь задушила под периною парня, как баба, потчун дьячка сивухой, сказала ему: «Кушай на здоровье», а тот ответил ей любезностию: «Маслецо коровье»; или пересказывать похождения на ярмарке разудалой бабы-чиновницы и пересказывать их ее языком, и потом героиню повести, порядочную женщину, из любви к мужу заставил жить в подвале, в сонмище пьяниц, воров и мошенников; или изображать психологические явления мужиков, которые режут других, давятся сами,¹ — признаемся, это верх романтизма, верх народности, которые хуже всякого классицизма. Мы уважаем «Юрия Милославского» г. Загоскина; но признаемся, решительно не понимаем в его других романах прелести ярмарочных сцен и языка героев этих сцен. Мы отдаем полную справедливость юмористическому таланту, с каким написан «Пан Халявский» г. Основьяненка; еще выше ценим прекрасную цель, с какою написана эта забавная сатира на доброе старое время, но не можем восхищаться многими из произведений г. Основьяненка за то только, что в них мужики говорят чистым мужицким языком и никак

не выходят из ограниченной сферы своих понятий. Напротив, нам приятнее было бы в подобных произведениях встречать таких мужиков, которые, благодаря своей натуре или случайным обстоятельствам, несколько возвышаются над ограниченою сферою мужицкой жизни.

Но — слава богу — теперь начинают понимать цену такой народности, и потому именно и начинают понимать, что теперь эта народность находится в своей апогее, дошла до последней ступени нелепости: для ее распространения появились на манджурской границе особые издания, слух о которых доходит до нас через Кяхту, вместе с китайским чаем. В этих изданиях (говорят, их существует целых два, из которых одно объявляет себя отцом другого, хотя они тискаются и в разных местах Среднего царства¹), в этих изданиях нас приглашают учиться у черни не только литературе, но и нравам, и обычаям, и даже тому, что составляет внутреннюю жизнь и свободное убеждение каждого порядочного человека. Деревенские старости и богомольные старухи представляются образцами нравственности, созерцательных откровений и даже образованности и просвещения. Так то справедливо, что ложь гораздо опаснее и страшнее, когда существует невидимкою и призраком: чтобы уничтожить ее, должно не мешать ей дойти до своей последней крайности, впасть в нелепость, сделаться смешною, вполне проявиться, принять образ и лицо, словом — созреть: тогда она прорвется и сама собою уничтожится. Когда преследуешь зло, надо видеть его перед собою, чтоб можно было показать его и другим. И потому те, которые хлопочут в его пользу, сражаются его скорее тех, которые ему противостоят. Это единственная и притом очень важная заслуга со стороны людей, которые всю жизнь свою бьются из разных полезных их благосостоянию лжей. Истина только вначале встречает сильное сопротивление, но чем более выявляется, чем более становится фактом, тем большее число приобретает себе друзей и поборников. Ложь идет обратным ходом: сильная, пока не вполне проявится, она, подобно призраку, от лучей света уничтожается сама собою.

«Народность» есть великое дело и в политической жизни и в литературе; только, подобно всякому истинному понятию, она сама по себе есть односторонность и явняется истинною только в примирении с противоположною себе стороною. Противоположная сторона «народности» есть «общее» в смысле «общечеловеческого». Как ни один человек не должен существовать отдельно от общества, так ни один народ не должен существовать вне человечества. Человек, существующий вне народной стихии, есть призрак; народ, не сознающий себя живым членом в семействе человечества, есть не нация, но племя,

подобно калмыкам и черкесам, или живой труп, подобно китайцам, японцам, персиянам и туркам. Без народного характера, без национальной физиономии, государство есть не живое органическое тело, а механический препарат, подобно Австрии. Но, с другой стороны, и национального духа еще недостаточно для того, чтобы народ мог считать себя чем-нибудь существенным и действительным в общности мироздания. В том и другом случае народ есть односторонность и крайность, а следовательно, и призрак. Чтобы народ был действительно историческим явлением, необходимо, чтобы его народность была только формой, проявлением идеи человечества, а не самою идею. Всё особое и единичное, всякая индивидуальность действительно существует только *общим*, которое есть его содержание и которого она только выражение и форма. Индивидуальность призрачна без общего; общее, в свою очередь, есть призрак без особого, индивидуального проявления. И потому люди, которые требуют в литературе одной «народности», требуют какого-то призрачного и пустого «ничего»; с другой стороны, люди, которые требуют в литературе совершенного отсутствия народности, думая тем сделать литературу всем равно доступною и общею, т. е. человеческою, также требуют какого-то призрачного и пустого «ничего». Первые хлопочут о форме без содержания; вторые — о содержании без формы. Те и другие не понимают, что ни форма без содержания, ни содержание без формы существовать не могут, а если существуют, то в первом случае, как пустой сосуд странного и нелепого вида, а во втором случае, — как миражи, которых все видят, но которых в то же время почитают несуществующими предметами. Итак, очевидно, что только та литература есть истинно народная, которая, в то же время, есть общечеловеческая; и только та литература есть истинно человеческая, которая в то же время есть и народная. Одно без другого существовать не должно и не может. Нам скажут в опровержение, что нет племени на земле, которое бы, при всей своей ничтожности, не имело у себя поэзии; а как всякая поэзия есть действительно существующий факт, то, следовательно, можно иметь народную поэзию и не принадлежа к семейству человеческого рода. Возражение, только кажущееся основательным! Нет на земле племени, которое бы не принадлежало к семейству человеческого рода; но дело в том, что одно племя меньше, а другое больше принадлежит человечеству, и что, в этом отношении, все племена и народы представляют собою цепь, звенья которой с обоих концов постепенно увеличиваются к центру. Египтяне такой же исторический народ, как и евреи; но важность их для человечества далеко неодинаково велика: первые внесли особый элемент в многосложную жизнь Греции и только этим упрочили

ли свое существование в истории; результатом же существования евреев была божественная книга, покорившая теперь под свою спасительную власть лучшую часть человечества и готовая скоро покорить весь мир.¹ И потому нет нужды говорить, который из этих двух народов более принадлежит человечеству. Где только человек владеет словом, любит и ненавидит, блаженствует и страдает, там уже и является человечество, там уже есть и жизнь и поэзия; но есть большая разница в объеме слова, любви, ненависти, блаженства и страдания, между диким отаитянином и образованным европейцем, между финном, калмыком, тунгузом и — французом, немцем, англичанином. Такая же разница и между литературами: тех и других. Есть люди, которые посвящают целую жизнь изучению греческой литературы; но едва ли человек с умом и душою посвятит всю жизнь свою на изучение чухонской литературы.²

Важность и достоинство народов определяется их историческим значением. Народ, не имеющий истории, есть ничто, хотя бы занимал собою половину земного шара и считал свое народонаселение сотнями миллионов. Так, нынешние персияне хотя и составляют значительное государство в Азии, но не имеют истории, ибо перемены династий и властителей еще не составляют истории. Есть народы, которые имеют внутреннее историческое значение, как выражающие своею жизнию идею: таковы в Европе народы гальско-римско-тевтонского образования. Есть народы, которые имеют только внешнее историческое значение, как действовавшие на других силою тяготения и существовавшие не для себя: таковы монголы, турки, такова теперь Австрия. Не нужно говорить, что важность первых субстанциальная, а вторых — относительная. Есть народы, которые имели мгновенное историческое значение и с окончанием его погибли: таковы древние ассирияне, мидийцы, персы, финикийцы, карфагеняне и пр. Есть народы, которые, имев мгновенное или продолжительное историческое значение, пережили его как бы навсегда: таковы теперешние евреи, китайцы, японцы, индусы, аравитяне. Есть, наконец, народы, которые имели или имеют историческое значение не сами собою, а только тем, что приняли от чуждого им племени субстанциальное начало жизни, особенно религию: таков теперь весь магометанский Восток, покоренный аравитянским исламизмом. Все эти различия очень важны, ибо ими определяется степень достоинства каждого народа, а следовательно, и его поэзии и литературы. И у персиян есть поэзия, но ее основа — магометанско-пантеистическое мирозерцание, занятое от арабов: следовательно, ее отнюдь не должно равнять с арабскою поэзией.

Поэзия каждого народа есть непосредственное выражение его сознания; посему поэзия тесно слита с жизнию народа.

Вот причина, почему поэзия должна быть народной, и <почему> поэзия одного народа не похожа на поэзию всех других народов. Для всякого народа есть две великие эпохи жизни: эпоха естественной непосредственности, или младенчества, и эпоха сознательного существования. В первую эпоху жизни национальная особенность каждого народа выражается резче, и тогда его поэзия бывает по преимуществу народной. В этом смысле народная поэзия отличается резкою особенностью и потому более доступна уразумению всей массы своего народа и более доступна для других народов. Русская песня сильно действует на русскую душу и нема для иностранца и не переводима ни на какой другой язык. Во вторую эпоху существования народа его поэзия делается менее доступною для массы народа и более доступною для всех других народов. Пушкина русский мужик не поймет, но зато пушкинская поэзия доступна всякому образованному иностранцу и удобопереводима на все языки. Если народ ничтожен в историческом значении, его естественная (народная) поэзия всегда выше его художественной поэзии, ибо последняя более требует общечеловеческих элементов, и если не находит их в жизни своего народа, то делается подражательною. Так, чешская народная поэзия и богата и сильна, а художественная не представляет ничего великого. Естественная (или собственно народная) поэзия более зависит от субстанции народа, чем от его исторического значения. Вот почему римляне — всемирно-историческая и великая нация — не имели народной поэзии. Что касается до греческой поэзии — она составляет собою как бы исключение из общего правила: она никогда не была собственно народною, но всегда, будучи народною, в то же время была и общечеловеческою, всемирно-историческою. Причина этого — бесконечное мирозерцание, лежавшее в субстанции эллинского племени: в самых древнейших их мифах заключаются абсолютные идеи, художественно выраженные, и в этом отношении их древнейшие поэты, до Гезиода и Гомера существовавшие, равно как и сами Гезиод и Гомер, отличаются от позднейших — Софокла и Еврипида больше степенью исторического развития искусства, чем художественного достоинства. Художественная поэзия всегда выше естественной, или собственно народной. Последняя есть только младенческий лепет народа, мир темных предощущений, смутных предчувствий; часто она не находит слова для выражения мысли и прибегает к условным формам — к аллегориям и символам; художественная поэзия есть, напротив, определенное слово мужественного сознания, форма, равновесная заключающейся в ней мысли, мир положительной действительности; она всегда выражается образами определенными и точными, прозрачными и ясными, равносильными идее. Мы помним, как, в разгаре

романтического брожения, многие утверждали у нас, что народная песня выше всякого художественного произведения и что будто бы какой-нибудь Пушкин за честь себе ставил подделаться под простой и наивный склад народной песни: смешное заблуждение, впрочем, понятное в эпоху одностороннего увлечения! Нет, одно небольшое стихотворение истинного художника-поэта неизмеримо выше всех произведений народной поэзии, вместе взятых! И если художник-поэт настроивает свою разнообразную *гармоническую* лиру на монотонный лад народной *мелодии* — он делает этим честь народной поэзии и обнаруживает могущество Протея, способного являться во всех формах. Его *народная* песня выше всех собственно народных песней, вместе взятых: произведение, которое выходит из творческого духа, обладающего своим предметом, всегда выше того, которое выходит из духа, покоренного своим предметом. И со всем тем, в народной, или естественной, поэзии есть нечто такое, чего не может заменить нам художественная поэзия. Никто не будет спорить, что реквием Моцарта или соната Бетховена неизмеримо выше всякой народной музыки, что уже доказывается даже и тем, что первые никогда не наскучат, но всегда являются более новыми, а вторая хороша во-время и изредка; но тем не менее неоспоримо, что власть народной музыки бесконечна над чувством. Не диво, что русский мужичок и плачет и пляшет от своей музыки; но то диво, что и образованный русский, музыкант в душе, поклонник Моцарта и Бетховена, не может защититься от неотразимого обаяния однообразного, заунывного и удалого напева народной песни... Возраст мужества выше младенчества — нет спору; но отчего же звуки нашего детства, его воспоминания даже и в старости потрясают все струны нашего сердца и радостью и грустью, и вызывают вокруг поникшей головы нашей светлых духов любви и блаженства?... Это оттого, что младенчество есть необходимый и разумный период нашего существования, который бывает только раз в жизни и больше не возвращается... Это время нашего единства с природою, в котором так много простодушной и невинной любви, время нашего непосредственного сознания, в котором всё было ясно, без тяжких дум и тревожных вопросов, как будто бы сильфы и феи дружелюбно нашептывали сердцу священные откровения и небесная манна сама падала на землю, не орошенную потом труда и забот... Славное то время было, читатели, когда солнышко улыбалось вам с чистого неба, цветочек наклоном стебелька ласково приветствовал вас, мотылек манил вас бегать по лугу, кузнечик пел вам свою однообразную песенку, и стырый¹ ручей, по выражению гениального сумасброда Гофмана, рассказывал вам чудные сказочки!..² Вы и природа были тогда — одно, и всё

в природе было для вас дружеским откровением священной тайны любви и блаженства!.. Выше же бокал мой за вас, счастливые лета моего младенчества!.. Я теперь умнее, чем был тогда; я не променяю разума на самое блаженство, но мне всё же жаль вас, о радужные дни моего счастливого детства!..

Да, мысль выше непосредственного чувства; пора мужества выше поры младенчества; но все же и в непосредственном чувстве и в поре детства есть нечто такое, чего нет ни в разумном сознании, ни в гордой возмужалости, что бывает только раз в жизни и больше не возвращается... Так и для народа: он всё тот же и в эпоху разумного сознания, как и в эпоху непосредственного чувства; но его непосредственное чувство было почвою, из которой возник и развился цвет и плод его разумного сознания. Всё последующее есть результат предыдущего: разумная мысль часто есть только сознание темной старины, а знание часто есть только уясненное предчувствие; а страна мифов и таинственных предречений есть страна, полная очарований и чудес... Жизнь распадается на множество сторон и вновь совокupляется в единое и целое; единое выше множества, целое выше частей, но и во всякой отдельности есть нечто свое, не заменимое целым. В художественной поэзии заключаются все элементы народной, и сверх того еще есть нечто такое, чего нет в народной поэзии: однако ж, тем не менее народная поэзия имеет для нас свою цену так, как она есть, в ее чистом, беспримесном элементе, в ее простой, безыскусственной и часто грубой форме.

Многое еще можно сказать об общих чертах народной поэзии, но это удобнее сделать в применении к русским песням и сказкам, — что мы и исполним в следующей статье, а эту просим считать не чем иным, как только общим взглядом на значение всякой народной поэзии.

СТАТЬЯ II

Значение «общего» и «особного» в искусстве. Отношение народной поэзии к художественной, и наоборот. Всеобщность и художественность греческой народной поэзии. Элементы общего в народных легендах тевтонских племен.

В первой статье мы сказали, что как естественное противоплагается в поэзии искусственному, так народное противоплагается общему, и наоборот, как народное, так и общее суть понятия родственные, заключающиеся в самой сущности творчества. Теперь нам должно объяснить значение *общего* (мирового, абсолютного) и *особного* (частного, исключительного).

Что такое «общее»? — Сущность всего сущего, единство все-

кого разнообразия, душа вселенной, начало и конец всего, что было, есть и будет, словом — *идея*. Почему же, спросят нас, это новое и притом такое странное, произвольное название для предмета старого и давно уже получившего себе имя? — Почему же «общее», а не просто «идея»?.. — В этом новом слове, — отвечаем мы, — один из существеннейших признаков, вполне определяющий предмет, берется за самый предмет, чтобы тем яснее было значение предмета. Слово «идея» требует определения философического, не многим интересного и доступного; слово «общее» (*Allgemeinheit*) может быть объяснено для всех более или менее ясно и удовлетворительно. Чтоб вернее достичь нашей цели, будем подтверждать наши умозрения примерами и подобиями. Всё общее есть источник и причина существования всего особого и частного. Общее необходимо, и потому вечно; особое случайно, — и потому преходяще. Вы видите перед собою животное, например, кошку: ее рождение, продолжительность или краткость жизни, ее смерть — всё это совершенно случайно, ибо *эта* кошка могла и быть и не быть, и издохнуть едва родясь, и дожить до старости. Природа и мир так же равнодушны к ее существованию, как и к ее несуществованию. Но кошка, как целый отдельный род животных, составляющий собою звено в цепи мироздания, не *какая-нибудь*, не *эта* кошка (*le chat* или *un chat*), а кошка вообще (*chat*) есть уже не случайное и не частное, а необходимое и, след(овательно), *общее* явление. Ежедневно истребляется множество животных, но роды их неистребимы: равнодушная к участи особых явлений, природа пощадительно хранит *роды* и *виды*. Первые для нее — случайности; вторые — идеи, след(овательно), *общие*. Итак, вот уже мы и нашли в беспредельном многообразии природы то, что в ней должно называться *общим*. Если сообразить, что род, как идея, совокupляет в себе бесчисленные признаки, равно *общие* множеству предметов, выражающих его, — то слово «общее» уже никому не может казаться произвольным или странным. Роды и виды в органических явлениях природы, от минералов,* чрез растения и животных, доходя до человека, суть не иное что, как необходимые моменты ее развития, те ступени, на которых она, так сказать, отдыхала и упокоивалась в своем творческом стремлении к сознанию себя чрез индивидуализирование. Всё общее, каждый предмет в природе есть не что иное, как воплотившаяся, *обособившаяся* идея абсолютного бытия. Будучи источником всего видимого, конечного и преходящего, словом, будучи *матерью* всякого чувственного бытия, абсолютная идея, оставаясь в своем элементе чистого, недоступного

* Здесь слово «органический» берется в обширном смысле, как противоположность всему «техническому», не самую природу, а умом человека производимому.

чувствам бытия, подобна нулю, который, сам по себе не будучи ничем, тем не менее принимается математиками за абсолютное начало всякой величины и всех величин. Только тот в состоянии уразуметь таинственное значение этого божественного нуля, чей взор довольно глубок, чтобы провидеть сущность вещей мимо самых вещей, чей ум довольно могущ, чтобы совлечь с мира его покровы и не затрещать от ужаса, увидевшись с духом лицом к лицу. Здесь мы приводим, для ясности, образное и поэтически созерцательное выражение этой мысли, принадлежащее великому поэту Германии — Гёте. Фауст, дав обещание императору вызвать перед него Париса и Елену, прибегает к помощи Мефистофеля, который неохотно указывает ему единственное средство для выполнения этого обещания. «В неприступной пустоте, — говорит он, — царствуют богини; там нет пространства, еще менее времени: то *матери*». — «Матери? — восклицает в изумлении Фауст; — матери! матери! — повторяет он, — это так странно звучит...» — «Богини, — продолжает Мефистофель, — неведомые вам, смертным, и неохотно именуемые нами. Готов ли ты? Тебя не остановят ни замки, ни запоры; тебя обоймет пустота. Имеешь ли ты понятие о совершенной пустоте?» Фауст уверяет его в своей готовности. «Если б тебе надобно было плыть, — продолжает снова Мефистофель, — по *безграничному* океану, если бы тебе надобно было созерцать эту безграничность, ты бы увидел там по крайней мере стремление волны за волною, ты бы увидел там нечто, ты бы увидел на зелени усмирившегося моря плескающихся дельфинов, перед тобою ходили бы облака, солнце, месяц, звезды; но в пустой, вечно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственного шага, ноге твоей не на что будет опереться». Фауст непоколебим: — «В твоём *ничто*, — говорит он, — я надеюсь найти *всё*. (In deinem Nichts holl ich <das> All zu finden)».

Мефистофель после этого дает Фаусту ключ. «Ступай за этим ключом, — говорит он ему, — он доведет тебя до *матерей*». Слово «матери» снова заставляет Фауста содрогнуться. — «*Матерей!* — восклицает он, — как удар поражает меня это слово! Что это за слово такое, что я не могу его слышать?..» «Неужели ты так ограничен, — отвечает ему Мефистофель, — что новое слово смущает тебя?..» Мефистофель потом дает ему наставления, как он должен поступать в своем дивном путешествии, — и Фауст, ощутив новые силы от прикосновения к волшебному ключу, топнув ногой, погружается в бездонную глубину. «Любопытно, — говорит Мефистофель, оставшись один — возвратится ли он назад?» Фауст возвратился, и возвратился с успехом. Он вынес с собою из бездонной пустоты треножник, тот треножник, который был необходим для того, чтоб вызвать в мир действительный красоту в лице Париса и Елены.¹

Этот поэтический миф Гёте, или, лучше сказать, эта поэтическая апофеоза самого отвлеченного понятия, очень ясно говорит уму своею образностью. Подобно Фаусту, всякий, в ком воля способна возвышаться до самоотречения, отважившись ринуться в безграничную пустоту — таинственное местопребывание царственных матерей всего сущего, — вынесет оттуда с собою волшебный треножник всяческого знания и всяческой жизни. Из пустоты возвратится он в высшую действительность, в ничто найдет всё: ибо что же и всё, как не ничто, ставшее действительностью, как не бестелесные «матери», воплотившиеся в миры?.. Общее, т. е. идея, чтобы перейти из сферы идеальной возможности в положительную действительность, должно было перейти через момент отрицания своей общности и стать особным, индивидуальным и личным. И это общее, обособившись в планете и предметах ископаемого и растительного царства природы, начало индивидуализироваться в предметах царства животного. Мы уже выше сказали, что как обособление, так и индивидуализирование общего в природе совершалось в правильной последовательности восхождения от низшего *рода* и *вида* к высшему роду и виду. Цель этого творческого движения была сознание, возможное только для личности, для субъекта, до которых общее и достигло, ставши *человеком*. Но как природа была как бы бессильна вдруг достичь своей цели, став человеком, — то стремление ее к средству сознания — личности, началось с низших моментов — сперва обособления (планета, минералы, растения), потом индивидуализирования (животные); переходя от низшего к высшему, природа ознаменовала свое творческое стремление стройным рядом существ, постепенно приближающихся к человеку. Явно, что орангутанг был последнею неудачною попыткою ее сознать себя, после которой ей уже было возможно достичь последнего, высшего, абсолютного типа существ — *личности, субъекта, человека* и что, достигши цели своего стремления, она вдруг как бы лишилась своей творческой силы и деятельности, как уже более не имеющей цели, а потому и ненужной.

Человеком оканчивается царство природы, и им же начинается царство духа. Мы видели, что в природе общее (идея) является в родах и видах веществ и существ; теперь посмотрим, как оно является в человеке.

Что такое общечеловеческое? — Разумеется, то, что составляет общий интерес всех и каждого, то, что всех волнует, во всяком находит отзыв, служит невидимым рычагом деятельности всех и каждого. «Стало быть — *деньги!* — воскликнет иной читатель. — Чему же другому и быть!» Не спорим с теми, кто уже так глубок в этом убеждении, что его нельзя переспорить; но для многих других, еще не слишком крепких в подоб-

ном веровании, и для немногих, совершенно чуждых ему, скажем несколько слов об «общем» людей. Так как общее есть то, что связывает людей между собою, то не спорим, что и взаимные нужды и отношения есть общее. Но это еще не то общее, о котором говорим мы: есть между людьми другое высшее, благороднейшее, достойнейшее их общее: это — *любовь*. Но любовь есть только чувство, и потому что-то инстинктуальное, невольное и бессознательное. Любовь как чувство свойственна и животным, в половых и семейных отношениях. Любовь человека должна быть выше, а для этого она должна быть сознательною, должна иметь разумное содержание. Вы, читатель, имеете друга; он погибает, — и вы спасаете его с опасностью собственной жизни или с пожертвованием собственного благосостояния. Это высокий и прекрасный подвиг, но это еще не любовь, а только действие любви: любви должно искать в причинах вашей любви к другу, в том, что связывает вас с ним дружбою. Мы несколько не отвергаем действительности факта, что и величайшие злодеи иногда погибают друг за друга; но причина этого — привычка считать жизнь ни за что и еще более — взаимная нужда друг в друге, т. е. сперва бессознательность ожесточения, а потом эгоизм: след(овательно), тут о любви нечего и говорить. Связывают людей еще и общие страсти, пристрастия, привычки, как то: вино, карты, сплетни и пр.; но в подобного рода связях не бывает примеров самоотвержения. Итак, ваша любовь к другу, доказанная самопожертвованием, должна же на чем-нибудь основываться, вы за что же нибудь должны любить вашего друга, а он вас, словом, между вами должно же быть что-нибудь *общее*?.. Так, — и уж конечно это то, что составляет человеческое достоинство, что делает человека человеком, что называется благом, истинною, красотою, долгом, обязанностию, знанием и т. п. А благо, истина, красота, долг, честь, слава, доблесть, знание — всё это — идеи, след(овательно), всё это «общее». И потому, любя вашего друга, вы любите в нем не что-нибудь частное, случайное, ему одному принадлежащее (как, например, цвет волос, голос, лицо), но тот Прометеев огонь, то божественное начало, которое есть общее наследие человеческой природы, словом — идею. Вы скажете, что, несмотря на то, вы всё-таки любите и лицо, и голос, и поступь, и манеры, и всю непосредственность вашего друга: оно так и должно быть, ибо в том-то и состоит взаимное отношение общего к особному и особногo к общему, что они в человеке не приклеиваются друг к другу внешним образом так, чтобы можно было сказать, что в нем общее и что особенное, но взаимно проникают друг друга, неразрывно, органически сливаются друг с другом. Человек состоит из тела и души, но ведь нельзя же сказать: вот в нем тело, а вот душа; доселе анатомия и физиология еще не нашли (и никогда не найдут) места в теле, где жи-

вет душа, и как тело без души, так и душа без тела есть отвлеченное понятие, а не действительное явление, не человек. Чем более проникнут человек общим, тем он *особнее*, так сказать, и мы, думая любить его за черты лица или голос, любим его за душу, а думая любить за душу, любим за лицо, речь и манеры. Определительно на этот счет можно сказать только то, что особенное получает свое достоинство только от общего и что любить можно только идею. Нам возражат, что есть люди, одаренные сильною способностью любить и которые часто устремляют свою любовь на предметы, не совсем достойные ее, или видя в них мнимые достоинства, или просто по привычке, или вследствие особенной обстановки обстоятельств. Это ничего не доказывает, кроме бессознательности. Позорно в человеке отсутствие всякого чувства; но любовь всегда есть признак человеческого достоинства, на какой бы ступени ни стояла она; высшая, действительная любовь есть любовь сознательная, разумная.

Каждый человек — сам себе цель; назначение каждого человека — развить в себе всё человеческое, общее, и насладиться им. Все люди имеют равное право на дары духа, — разумеется в той мере, в какой каждый из них, по своей натуре, может вместить в себе. Но есть особый род людей, которые по преимуществу могут называться любимцами неба: это — великие исторические действователи. История, некоторым образом, представляет собою явление, параллельное природе: как в последней общее является в родах и видах, так в первой оно является в избранных судах божиих. Они выражают свою личность всё, что составляет сущность народа или человечества в их эпоху; они страдают и блаженствуют за миллионы; они — олимпетворенная идея, «личное общее» своего времени. И потому их личности не суть что-нибудь преходящее, но вечное, никогда не умирающее. Они представляют собою «общее», и потому до них всем и каждому дело, всякая живая душа откликается на их имя, всё интересуется их участью, даже малейшими подробностями их частной жизни. Заговорите с последним безграмотным и полудиким русским мужичком в глуши отдаленной провинции, заговорите с ним о Петре Великом, о Наполеоне — и он будет вас слушать, будет с участием вас расспрашивать. «*Что ж ему Гекуба?*» — спрашиваете вы вопросом Гамлета... «Общее, общее!» — отвечаю я вам. В чем бы ни проявилось оно — в испанской ли мысли Петра преобразовать народ; в испанской ли мысли Наполеона дать законы всему миру; в испанской ли художественной деятельности Шекспира; в ужасающем ли патристическом фанатизме Брута, палача горячо любимых детей своих; в религиозном ли рвении Иоанна Гуса, и как бы ни кончилось оно — полною ли победою и полным оправданием

при жизни, остром ли св. Елены, полнотою ли славы при жизни, сделавшейся в тягость, костром ли, — оно *общее*, всем равно принадлежащее, и потому каждый и знает о нем, как о своих собственных нуждах, хотя бы и века отделяли его от него...

Итак, предмет искусства есть *общее*, в значении которого мы условились с читателями. Но в искусстве, как и в природе и в истории, общее, чтобы не оставаться отвлеченною идеею, должно обособиться в отдельные органические явления. Посему всякое художественное произведение есть нечто отдельное, особенное, но проникнутое общим содержанием — идеею. В художественном произведении идея с формою должна быть органически слиянна, как душа с телом, так, что уничтожить форму значит уничтожить идею, и наоборот. Сущность искусства — уравновешение общего с особным, идеи с формою. В искусстве форма — прежде всего, потому что всё — в ней; она не должна быть внешним средством для выражения идеи, но самою идеею в чувственном проявлении. И посему, как трудно определить значение того или другого человека, почти так же трудно и определить идею художественного произведения. Единственность идеи с формою так велика в искусстве, что ни ложная идея не может осуществиться в прекрасной форме, ни прекрасная форма быть выражением ложной идеи. Если в произведении искусства форма преобладает над идеею, — это значит, что идея не довольно определена и ясна для созерцания творящего, — и тогда форма не может быть вполне прекрасна, и произведение может быть даже уродливо, как неудачный порыв к творческому сознанию. Таковы грубо вырезанные или грубо вырезанные идолы языческих племен, стоящих на низшей степени развития. Причина их безобразия не младенческое состояние технической стороны искусства у племени, а бедность и, следовательно, неопределенность идеи, которая не может подняться выше туманного предчувствия истины. Вообще незрелая мысль если и высказывается иногда удачно в искусстве, то в подробностях, а не в целом. Этим объясняется чудовищность символических храмов и идолов Индии, равно как и чудовищная огромность «Махабхараты» и «Рамайяны»¹, в которых целое поглощается длинными эпизодами, а высокие красоты поэзии мешаются с дикими образами и случайностями. Египетские статуи уже ближе к истинному искусству; они отличаются даже изяществом внешней отделки; но их лица бедны выражением, позы принужденны и связаны. В греческой статуе жазнь и свобода сочетались с красотой и грациею; это истинные боги, сошедшие на землю. Вообще в греческом искусстве идея уравновесилась с формою, и потому искусство греков есть более искусство, чем даже искусство новейшего

времени. Если в искусстве преобладает идея над формою, тогда искусство теряет свое чистое, первоначальное значение и, по степени преобладания, соприкасается с другими абсолютными сферами сознания, делаясь для них как бы средством и чрез то приобретая не менее важное, но уже новое значение.

Идея народности в искусстве вытекает прямо из процесса обособления общего. Самое человечество, хотя и нет ничего выше его из существующего вовне, есть уже нечто особенное — тем более народ. Если художник изображает в своем произведении людей, то, во-первых, каждый из них должен быть человеком, а не призраком, должен иметь физиономию, характер, нрав, свои привычки, словом все индивидуальные признаки, какими каждая личность отличается в действительности от всякой другой личности. Потом, каждый из них должен принадлежать к известной нации и к известной эпохе, ибо человек, вне национальности, есть не действительное существо, а отвлеченное понятие. Из этого ясно видно, что национальность в художественном произведении есть не заслуга, а только необходимая принадлежность творчества, являющаяся без всякого усилия со стороны поэта. И потому, чем выше произведение в художественном отношении, тем оно и национальнее, и хвалить великого художника за национальность его творения — всё равно, что хвалить великого астронома за то, что в своих вычислениях он не ошибается в таблице умножения. В самом деле, что за заслуга со стороны русского, что его дети отличаются русскою физиономиею? Конечно, чтоб быть национальным поэтом, нужно сперва быть великим человеком, представителем духа своей нации; но из этого-то и следует, что великий талант делает поэта национальным, а не национальность делает его великим поэтом: последнее есть только необходимое следствие первого. При известии о вновь родившемся человеке никто не спрашивает, есть ли у него глаза и руки, сколько ног и нет ли рогов и хвоста: если он человек, так уж само собою разумеется, что у него есть и глаза и руки, ног всего две, а не четыре, а рогов и хвоста нет. Так и в искусстве: если произведение художественно, то само собою оно и национально; в противном же случае оно не может быть и художественным произведением, а будет аллегориею, символом, или просто надутым и холодным призраком, где общее не обособилось органически, а только прикрылось доскутьями натянутого вымысла, который не вывел вовне, а только закрыл его смысл. Это относится не к одним тем произведениям, которых содержание берется из действительной жизни, как в романе, повести, драме, комедии, но и к лирическим поэмам. «Фауст» Гёте — мировое, общечеловеческое произведение, но тем не менее, читая его, вы видите, что оно могло

родиться только в фантазии немца, и Байронов «Манфред», явно навеянный «Фаустом», уже несколько не веет германским духом. Хотя Шекспир, в своих драмах, выводил и не одних англичан, но и французов, и немцев, и итальянцев, и даже древних римлян и греков, но, читая его, вы понимаете, что только в Англии мог явиться такой драматург: кому эта мысль показалась бы странною, тех просим прочесть в «Отечественных записках» статью «Мария Стюарт»: ¹ этот исторический отрывок представляет все элементы драмы, кроющиеся в английской истории. Как ни разнообразен, ни мирообъемлющ Гёте в своих созданиях, но каждое из них веет немецким и, сверх того, еще «гётевским» духом. Хотя в большей части лирических пьес Пушкина, и даже в некоторых эпических его произведениях, как в «Дон Хуане», ² и содержание, и форма, повидимому, чисто европейские, но и в них Пушкин является истинным национальным русским поэтом, уже по одному тому, что их никогда нельзя смешать ни с байроновскими, ни с гётевскими, ни с шиллеровскими созданиями и их нельзя иначе назвать, как «пушкинскими». И повторяем: это необходимо, это лежит в сущности творчества: из какого бы мира ни брал поэт содержание для своих созданий, к какой бы нации ни принадлежали его герои, но сам-то он всегда остается представителем духа своей нации, смотрит на предметы *ее* глазами и кладет на них *ее* печать. И чем гениальнее поэт, тем общее его создания, а чем общее они, тем национальнее и оригинальнее. Чем отличается гений от таланта? — Тем, что, будучи оригиналец, он в то же время и *общее* таланта. Гофман великий талант, но он далеко низшее явление в сравнении с Гёте и Шиллером: он выразил только одну сторону германского духа, тогда как те, каждый по своему, исчерпали всю глубину его, выразили все стороны его. И потому оригинальность Гофмана для многих кажется странностию, и многие люди с эстетическим чувством, понимая Шиллера и Гёте, не понимают Гофмана. И причина этому не оригинальность Гофмана, а ее источник, не довольство общий, чтобы возвысить ее до абсолютного: оригинальность всё-таки остается необходимым условием не только гения, но даже самого незначительного таланта: только сфера бездарности отличается безличною общностью, для которой не существует ни пространства, ни времени, ни нации, ни колорита, ни тона, — которая во всех странах и во все времена, от начала мира до наших дней, выражается одним языком и одним и теми же словами.

Но условия обособления общего в произведениях искусства не оканчиваются только национальностью и оригинальностью: без *типизма* нет ни той, ни другой. *Тип* (первообраз) в искусстве есть то же, что *род* и *вид* в природе, что *герой* в истории. В *типе* заключается торжество органического слияния двух

крайностей — *общего* и *особного*. Типическое лицо есть представитель целого рода лиц, есть нарицательное имя многих предметов, выражаемое однако же собственным именем. Так, например, *Отелло* есть собственное имя, принадлежащее только одному лицу, изображенному Шекспиром; но вида человека в принадлежности ревности, мы говорим: «Какой Отелло!» хотя бы этот человек назывался Иваном или Петром и был русский или немец, а не мавр. В этом же смысле все герои поэм, драм и повестей Пушкина, «Горя от ума» Грибоедова, повестей Гоголя — *типы*. Боже мой, если посмотреть, на скольких людей приходится так ловко, как по ним шито, достославное имя одного *Ивана Александровича Хлестакова!*.. Это не эклектическое собрание резких черт одной и той же идеи, а общая идея, обособившаяся в художественно созданном лице, это *лицо* и вместе — *идея*; а как одна и та же идея является в действительности в бесконечном разнообразии, то в лице, вполне выразившем ее собою, видится множество лиц.

Но и здесь еще не конец условиям обособления общего в искусстве. Художественное произведение должно быть целым, единым, особым и замкнутым в себе миром. В нем общая идея, принявши плоть и образ, так сказать, приковывается к пространству и времени, и притом к известному пространству и к известному времени. Оно овеществляется, явившись в форме; но, делаясь материею, оно не перестает быть духом: принадлежа вичтожному клочку земли, на котором разыгралась драма, оно — гражданин всего мира; принадлежа к ничтожному мгновению, в которое совершилось событие, оно есть достояние вечности. И потому художественное произведение и конечно и бесконечно вместе: конечно потому, что состоит в куске мрамора, в лоскутке полотна, в книге, может быть взято руками, перенесено, истреблено, а главное потому, что выражает один известный случай, небольшое число людей или мгновенное ощущение; оно бесконечно потому, что выраженный им случай заключает в себе возможность бесчисленного множества подобных случаев; изображенные им люди заключают в себе множество людей, которые были, есть и всегда могут быть; а мгновенное ощущение одного поэта есть достояние, собственность миллионов людей, словом: потому, что в его конечной форме выразилось бесконечное, общее, непреходящее — идея, дух. Кто не умсет в своем разумении примирить этих двух противоположных понятий — конечного и бесконечного, тот прав в отношении к себе, хотя и виноват перед истиною, думая, что «Илиада» для нас — мертвая буква, ибо-де «мы не греки и не римляне». ¹

Истинное и полное слияние общего с особым возможно только чрез уравнивание идеи с формою, след(овательно), только в художественной поэзии. Мысль младенчающегося

народа всегда более или менее темна, неопределенна, а потому и не может найти себе равновесного выражения в форме. Мысль младенствующего народа есть не разумное сознание, возросшее до определенности в выражении, а только темное предощущение истины, которое, силясь выразить, не говорит, а лепечет, дополняя условными знаками неуловимый для самой себя смысл своей речи. Одним уже этим недостаточно определяется отношение естественной или народной поэзии к художественной поэзии. Первая есть несвязный детский лепет; вторая — определенное слово мужа. Первая намекает, вторая полагает и утверждает. Художественная поэзия идет прямо к своей цели, и таинственное, неизглаголанное выражает в определенном слове; естественная поэзия прибегает к иносказанию, к мифу, которых смысл может провидеть только посвященный, а толпа видит одну басню и слепо верит ей, как непреложному историческому факту. По художественная поэзия находится в тесном средстве с естественною, ибо вырастает, так сказать, на ее почве. Оттого она так любит пользоваться мифическими преданиями народа и, отделяя от них всё случайное, воссоздавать их в новой лепоте. Однако ж эта живая, родственная связь, это отношение матери к дочери, между естественною и художественною поэзией возможно только при одном условии, *sine qua non*: * естественная поэзия только тогда может развиваться из самой себя в художественную, когда она полна элементов «общего». Для доказательств этого стобит только указать на греческий и тевтонско-германский мир. Прометей похитил с неба огонь, возжег его теплотою и светом мертвые доколе тела людей; Зевс увидел в этом восстание против богов и, в наказание, приковал Прометея к скале Кавказских гор и приставил к нему коршуна, который беспрестанно терзает внутренности Прометей, беспрестанно нарастающие. Зевс ожидает от преступника покорности; но жертва горделиво сносит свои страдания и презрением отвечает палачу своему. Вот миф, которого одного достаточно, чтобы служить источником и почвою для развития величайшей художественной поэзии, а у греков было множество таких мифов, находившихся в живой, органической связи между собою, и переданных им, как откровение абсолютных истин, самую их природою. И потому удивительно ли, что подобный миф мог дать содержание для величайшей трагедии одному из величайших национальных гениев — Эсхилу? ¹ Удивительно ли, что тот же самый миф мог дать содержание гению новейшего времени — Гёте для одного из колоссальнейших его произведений — «Прометей»? Поговорим о первом, чтобы про-

* *Conditio sine qua non* — необходимое условие (латин.). — Ред.

никнуть в мысль мифа и в его басне провидеть общее содержание.

Кратос (*сила, могущество, власть, авторитет*), Биа (*сила*) и Гефест (*бог огня*) приводят Прометея (*провидца*) к скале Кавказских гор, чтобы приковать его к ней по повелению Зевеса. Кратос велит Гефесту немедленно приступить к делу: «Прометей, — говорит он, — похитил огонь, лучшее твоё достояние и орудие всех искусств, и сообщил его смертным; за это преступление он должен испытать величайшие муки — да научится покоряться воле Зевеса». Гефест повинует, но изъявляет Прометею свое сожаление, как равному себе богу, и при том караемому за доброе дело. «Смелый сын Фемпды (*правосудия, справедливости*), я против тебя и против себя должен приковать тебя к этому утесу неразрушимыми цепями; вот что приобрел ты за свою *филаитропию* (*любовь к людям*)! Напрасно будешь ты жаловаться и стенать: сердце Зевеса непреклонно, ибо новый повелитель всегда жесток бывает».* Кратос упрекает Гефеста за его сострадание к Прометею, как за слабость, и Гефест, не переставая изъявлять Прометею своего соболезнования, приковывает к утесу обе его руки, прокалывает ноги и вбивает в грудь железный гвоздь. Кратос саркастически издевается над страдальцем: «Хвались теперь, с обычною твоею гордостью, — говорит он, — хвались похищением божественных сокровищ, которые ты передал своим *эфмерам*! Кто из них облегчит твои мучения? Ошибаются называющие тебя *Прометеем* (*предвидящим*): тебе неприлично это имя; тебе бы самому нужен был Прометей для предохранения тебя от этого бедственного положения». Кратос, Биа и Гефест уходят; Прометей, хранивший доколе молчание, призывает в свидетели сделанного ему насилия эфир, ветры, источники рек, волны морские и землю — мать всего существующего. «Но, — говорит он, — к чему это? Я предвижу всё, что должно случиться — не мне страшиться непредвиденных бедствий: зная непобедимую силу необходимости, предадимся определению судьбы!» Является хор морских нимф, дочерей Океана, жалобно взывающий во изъявление своего сострадания к Прометею. Хор говорит ему, что удары Гефестова молота отдались даже в безднах моря и что возмущенные этим нимфы поспешили сюда на колеснице, *поллунагие* и *босые*. Утешая Прометея, они обвиняют Кронида в несправедливости и жестокосердии. Тогда Прометей говорит им, что Зевс должен будет прибегнуть к нему же, чтобы узнать о новом враге, долженствующем низвергнуть его с престола, но что тщетно будет умолять его и грозить ему, ибо он решил хранить тайну. Далее Прометей рассказывает

* Намек на похищение Зевсом Кронуна престола.

нимфам свою историю, начиная ее с борьбы между Кроном и Зевсом, который победил первого, следуя советам Прометея. «И вот как вознаградил он меня! Но никому не доверять, даже друзьям своим — обыкновенная болезнь тиранов!» Далее рассказывает, что Зевс, одолев Крона, начал раздавать богам милости и дары, чтобы утвердить свое владычество, а несчастных смертных решил совершенно истребить; но что он, Прометей, один воспротивился тому, сообщил людям огонь, могущий споспешествовать к открытию многих искусств, просветил и укрепил души их, исцелил их от боязни смерти и возродил в них утешительную надежду... Наконец, Прометей убеждает нимф сойти с их окриленной колесницы, чтобы удобнее расслушать повесть о его несчастиях, — и нимфы оставляют «безоблачный эфир, служащий птицам путем к горячей вершине скалы». Вдруг появляется Океан на «птице с быстрыми крыльями», утешает Прометея, советует ему не раздражать Зевса обидными выражениями и обещает выпросить ему у Кронида освобождение. Прометей отвечает ему, что это будет бесполезно для страдальца и опасно для ходатая, благодарит его за участие и отказывается от помощи. По удалении Океана Прометей говорит нимфам: «Если молчу я, то не думайте, что от гордости или оскорбления; но я *в мыслях пожираю сердце мое*, видя себя столь несправедливо утесненным».¹ Потом он исчисляет свои благодеяния людям и предрекает, что владычество Зевса должно иметь конец и что ему, Прометею, известно, как время, когда это совершится, так и имя того, кто низвергнет Кронида. На мольбу нимф открыть им эту тайну Прометей возражает: «Напрасно будете вы упрашивать: я должен и буду хранить эту ужасную тайну». Зевс посылает Гермеса к Прометею, чтобы исторгнуть у него роковую тайну. Прометей говорит, что он знает ее, но не скажет, — и в горделивом презрении к низкому слуге, вселится мыслью о неизбежном падении его властелина. Гермес грозит ему молниями и громами тучегоиителя, но Прометей непоколебим: в сознании правоты своей, он презирает Зевса и власть его. Молния расшибает скалу — и Прометей исчезает вместе с нею...

Мы бы взяли на себя слишком смелый и тяжелый труд, если бы захотели объяснить удовлетворительно смысл великого мифа о «Прометее», и потому довольно будет и намекнуть на него. Прометей и Зевс — это божество, разделившееся на самого себя, это сознание, распавшееся на две стороны, которые, по закону диалектического развития, враждебно стали одна к другой. Зевс — это непосредственная полнота сознания; Прометей — это сила рассуждающая, дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и справедливости. Зевс восстал на отца своего, Крона, с громами и молниями; Проме-

тей восстал на Зевса с мыслью и словом. Прометей вправе был сказать своему могущему противнику: «Ты седишься, Юпитер: следовательно, ты не прав!» И потому Зевс мог его уничтожить, но не утратить и не преклонить. Горделивая твердость, полное сознания своего достоинства и своей правоты самоотвержение Прометея было оправданием его пророчества о конце власти Зевеса: Зевс не прав и потому должен будет уступить свое владычество другой, более справедливой власти. Что же значит коршун, терзавший беспрестанно сраставшиеся внутренности похитителя небесного огня? — На это у Эсхила лучший ответ дает сам Прометей: «*Я в мыслях пожираю сердце мое!*» Это грустная дума, как червь, грызущая сердце и подтачивающая корни жизни, это муки распада. Зевс не прав, но он еще существует, и власть его еще сильна — он еще мстит своему противнику: зачем же он силен, если он не прав? Затем, что Прометею суждено только начать великое дело, а не кончить его; он только очистительная жертва общего дела, а не торжествующий победитель; он дал толчок сознанию, которое без него коснело бы в недеятельности, но он еще не видел результата сознания; он начал борьбу, но не ему суждена полная победа. Что же такое огонь, похищенный Прометеем с неба и сообщенный им людям? — Это мысль, сознание, пробудившее людей от мертвого сна животной непосредственности. Прометей дал знать людям, что в истине и знании и они — боги, что грома и молнии еще не доказательства правоты, а только доказательства неправоты власти. Пробуждено сознание в людях, — и падение Зевса уже неизбежно; рано или поздно, но алтари его сокрушатся, и колена смертных преклонятся пред богом правды и истины, любви и милости... Глубоко знаменательный миф, необъятный, как вселенная, вечный, как разум!..

«Прометей» Гёте, в некотором смысле, есть поэтический комментарий на Эсхилова «Прометея». Это та же древняя мысль, но высказанная яснее, определеннее, развитая подробнее, и вместе с тем, мысль, получившая новую силу и новое значение вследствие всемирно-исторического развития. Борьба идеи с авторитетом не кончилась с Прометеем: она не раз возобновлялась и даже едва ли еще решена и теперь. Достоверно можно сказать только то, что вопрос теперь вполне уяснился, и Прометей нашего времени заранее торжествует победу и уже не боится хищного коршуна. От этого «Прометей» Гёте имеет для нас значение самобытного создания и по преимуществу есть поэма нашего времени. Мы слишком отделились бы от своего предмета, если бы стали излагать содержание великой поэмы Гёте, но следующий отрывок может намекнуть на ее основную мысль. Прометей начисто отказывает Меркурию в повиновении

богам; Меркурий напоминает ему, что они заботились о нем, когда он был дитятею; Прометей ему отвечает:

За это тешились они
Моим повиновеньем
И мной ребенком управляли
По ветру прихотей своих.

Меркурий.
Они тебе защитой были.

Прометей.
А от чего? — От бедствий,
Перед которыми дрожали сами?
Они предохранили разве сердце
От змей, мевя сседавших втайне?
Ови ли оковали силой грудь
На страх титанам?
Не время ль мужем сделало меня,
Всесильное, единственное время,
Наш общий властелин?

Меркурий.
Несчастный! Ты богам бессмертным
Дерзаешь это говорить?

Прометей.
Богам? — А я не бог?..
Всесильные? Бессмертные?
Ну, что вы?
Вы можете ли всё пространство
И неба и земли
В десвице заключить моей?
Властвы ли вы
Меня от самого себя отторгнуть?
Вы можете ли увеличить,
Распространить меня на целый мир?

Меркурий.
Судьба!

Прометей.
Ее могущество
Ты, стало, признаешь?
Я также.
Иди, я не служу рабам!

Не даром боги греческие признавали над собою неотразимую власть судьбы: судьба — это была та темная граница, за которую не переступало сознание древних; христианство перешагнуло через эту границу, — и последний и великий пред-

ставитель язычества, Юлиан, тщетно силился поддержать всю силою своего гения сокрушающиеся алтари богов — они пали сами собою...

«Илиада» — народное произведение; но — посмотрите, как общи элементы этого дивного создания древности! Оставляя в стороне его основную мысль, оставляя в стороне всех других героев, взглянем только на Ахилла. Рьяный и могучий герой, он тяжело оскорблен Агамемноном; он мог бы вызвать его на бой, как равный равного, как царь царя; он победил бы его, как герой и полубог, а если бы и пал сам, по крайней мере не пережил бы позора обиды. И что же? Он удаляется в шатер, играет на лире и льет тихие слезы... Что ему победа и отмщение: ему нужна справедливость; его сердце страдает не от бессилия, а от несправедливости; ему нужна не победа, а справедливость со стороны обидчика... Видите ли вы здесь «человека» в эпоху зверского героизма?.. Убит друг его юности, брат его сердца, — он, могучий, бросается на землю, покрывает пеплом свою прекрасную голову, бьет себя в перси, горько рыдает, не зная сна и пищи. Но наступила минута — и он восстает, страшный, могучий, — и горе тебе, Гектор, убийца Патрокла! Двенадцать полоненных юношей принесено в жертву горестной тени Патрокла: связанные, пали они от копыя Пелида... Зверство! — скажете вы; но тогда было время зверства, и тем утешительнее видеть проблески человечности в самых зверях. Мщение не утоляет тоски Ахилла: много принесено кровавых жертв Патроклу, сам убийца его, Гектор, пал от руки Ахилла, а Ахилл попрежнему не смыкает глаз, стена и рыдая... Только раз сомкнулись на мигнуту очи героя — и ему явилась бледная молящая тень безвременно погибшего друга —

Призрак величия с вим и очами прекрасными сходный;
Та ж и одежда, и голос тот самый, сердцу знакомый!

Бесщадно губя троян, Ахилл встречается с одним из Приамовых сыновей: обнимая колена губителя, молит его несчастная жертва о пощаде и жизни, обещая за себя богатый выкуп:

.....ио услышал не жалостный голос:
«Что мне вещаешь о выкупах, что говоришь ты, безумный?
Так, доколе Патрокл наслаждался сиянием солнца,
Миловать Трои сынов мне иногда бывало приятно,
Мвогих из вас полонил и за мвогих выкуп я принял.
Ныне пощады вам нет никому, кого только демон
В руки мои приведет под стенами Приамовой Трои!
Всем вам, троянам, смерть, и особенно детям Приама!
Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?
Умер Патрокл, несравненно тебя превосходвейший смертный!

Видишь, каков я и сам: и красив и величествен видом,
 Сын отца зваменитого, мать имею богиню!
 Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть;
 Смерть придет и ко мне поутру, ввечеру или в полдень,
 Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет,
 Или копьем поразив, иль крылатой стрелою из лука».

(Песнь XXI, ст. 98—113)

Кто не увидит в этом героя и полубога? А героическое и божественное только в общем, в идее. Но «Илиада», как и все произведения Греции, не идет в пример народной поэзии, полной элементов «общего»: в греческой поэзии совершился процесс гармонического уравновешения идеи с формой, и потому греческая поэзия, будучи народной, в то же время и художественна в высшей степени и не в пример другим. Если мы ссылались на нее, то для того, чтобы яснее, живым фактом, объяснить читателям, что мы разумеем под «элементами общего» в искусстве. Теперь мы можем обратиться к поэзии чисто народной, совершенно естественной, но в то же время и полной «элементами общего», — к поэзии народов тевтонского племени, представителей новейшего европеизма. Здесь мы будем кратки, ибо после предшествовавших объяснений нам достаточно самых беглых указаний. Итак, прежде всего просим мы читателей «Отечественных записок» вспомнить разбор наш Тегнэрова «Фритиофа», переведенного по-русски г. Гротом.¹

Действие этой поэмы происходит во времена варварства; но сколько человеческого, великого, возвышенного совершается в это время варварства, какие дивные семена мысли кроются в делах, чувствах и воззрении на жизнь этих полудиких скандинавов! Это мир рыцарства в зародыше, это мир великих подвигов, благородного самоотвержения, обожания чести, славы и красоты, мир доблести, любви, верности обетам, неизменяемости клятв, мир возвышенных страстей, стремление к бесконечному, общественной нравственности! Чтобы не зайти далеко в отступление, укажем только на ответ Фритиофа своему пестуну, представлявшему ему несбыточность его надежд, высоту сана обождаемой им женщины:

Нет, женам мужество любезно,
 И сила стоит красоты!

Итак, для этих диких сынов Севера уже было решено, что красота — великое явление духа, что ей все жертвы, всё обожание, что ей и сладчайшие надежды пылкой юности и умиленный восторг седой старости. Да, для этих разбойничьих орд, грабивших Европу, вопрос о достоинстве красоты

был уже решен... Кто же зародил в них этот вопрос, кто решил его им? — Никто, по крайней мере, — не они: всё это было непосредственным откровением их природы, непосредственным проявлением национальной субстанции их духа... Итак, красоте отданы все ее права: варвар-норманн настаивает только на том, что и мужество стоит красоты... Следовательно, по его понятию, женщина была не хозяйка, а представительница красоты на земле, вдохновительница на высокие подвиги и награда за них; мужчина не хозяин, а представитель силы и могущества, подвигоположник; тот и другая вместе — дуб, осеняющий широколиственными ветвями прекрасную розу... Какое верное понятие об отношениях полов — в нем видна мысль!..

Теперь мы скажем, или, лучше сказать, перескажем давно слышанную нами немецкую богатырскую сказку¹ — оно же и кстати, потому что сейчас нам должно будет говорить о русских сказках. В мифические времена Германии, вероятно, за несколько веков до Тацита, оставившего нам известия о древнегерманском быте, жил богатырь огромный, преогромный, до того, что высочайшие сосны и дубы, которые вырывал с корнем могучею рукою, сдва годились ему на посохи. У этого богатыря был друг, тоже великий богатырь; и еще была у него — как бы сказать? — по-нашему, по-русскому — любовница, или полюбница, а по-ихнему, по-немецкому, Geliebte — *возлюбленная*. Кстати: наши русские слова «любовник» и «любовница» ужасно опошлилились, так что в устах дерут уши, а в печати режут глаза; а «возлюбленный» и «возлюбленная» немного отзываются «высоким слогом»... И вот Geliebte, или давай преследовать его богатыря влюбила в его друга, да и давай преследовать его своею любовью; но верный друг, честный богатырь наш с богатырскою решимостию отвергнул ее любовь. Оскорбленная отказом, она заменяет любовь мщением, и клеветами, доуками, ласками доводит своего мужа до того, что он убивает своего друга сонного... Но это было с его стороны не злодейством, а минутою слабости; поддавшись обаянию любимой женщины, он вдруг просыпается в сознании своего ужасного преступления. «Поди от меня прочь! — говорит он обольстительнице, — ты не нужна мне больше, из любви к тебе я сделал злодейство — убил моего друга, моего брата; после этого я не могу ни любить тебя больше, ни жить!» И на могильном холме своего друга он принес себя в жертву его оскорбленной тени...

Жалеем, что на этот раз, не имея под рукою источника, мы не могли передать этой трагической легенды ее собственными простодушными и энергическими словами; но из нашего полупуточного рассказа читатели поймут, в чем дело, и в грубой сказке увидят основания человечности, элементы «общего»...

После этого понятно, как могла у немцев явиться такая великая, такая самобытная художественная литература: для нее была готова родная почва, богатая дивными семенами...

Теперь мы можем обратиться к русской народной поэзии на основании сборников, заглавия которых выставлены в начале нашей статьи.

СТАТЬЯ III

Поэзия всякого народа находится в тесном соотношении с его историей: в поэзии и в истории равным образом заключается таинственная психика народа, и потому его история может объясняться поэзией, а поэзия историей. Мы разумеем здесь внутреннюю историю народа, которою объясняются внешние и случайные события в его жизни. Но как есть народы, существовавшие только внешним образом, то их поэзия может служить не объяснением их истории, а только объяснением ничтожества их истории. Источник внутренней истории народа заключается в его «миросозерцании», или его непосредственном взгляде на мир и тайну бытия. Миросозерцание народа выказывается прежде всего в его религиозных мифах. На этой точке, обыкновенно, поэзия слита с религиею, и жрец есть или поэт, или истолкователь мифических поэм. Естественно, эти поэмы самые древнейшие. В век героизма поэзия начинает отделяться от религии и составляет особую, более независимую область народного сознания. За героическим периодом жизни народа следует период гражданской и семейной жизни. На этой точке поэзия делается вполне самостоятельной областью народного сознания, переходит в действительную жизнь, начинает совпадать с прозою жизни, из поэмы становится романом, из гимна песнию; тогда же возникает и драма, как трагедия и комедия. В последнем периоде поэзия из естественной, или народной, делается художественною. Если же народ, пережив, мифический и героический период своей жизни, не пробуждается к сознанию и переходит не в гражданственность, основанную на разумном развитии, а в общественность, основанную на предании, и остается в естественной бессознательности семейного быта и патриархальных отношений, — тогда у него не может быть художественной поэзии, не может быть ни романа, ни драмы. Эпопею его составляют сказка и историческая песня, которой характер, по большей части, опять-таки сказочный. Сравнение казацких малороссийских песен с русскими историческими песнями лучше всего подтверждает нашу мысль; характер первых — поэтически-исторический; характер вторых, как мы увидим далее, чисто сказочный, и притом больше прозаический, чем поэтический. Лирическая поэзия всякого, хоть бы и гражданского, но еще не сознавшего себя общества

состоит только в песне — простодушном излиянии горя или радости сердца в тесном и ограниченном кругу общественных и семейных отношений. Это или жалоба женщины, разлученной с милым сердцем, и насильно выданной за немилого и постылого, тоска по родине, заключающейся в родном доме и родном селе, ропот на чужбину, на варварское обращение мужа и свекрови. Если герой песни мужчина, тогда — воспоминание о милой, ненависть к жене, или ропот на горькую долю молодецкую, или звуки дикого, отчаянного веселия — насильственный мгновенный выход из рвущей душу тяжелой тоски. Таково, по большей части, содержание всех русских народных песен. Это содержание почти всегда одно и то же; разнообразия и оттенков чувства нет, а мысль вся заключается в монотонном и простодушном чувстве. Такая поэзия лучше самой истории свидетельствует о внутреннем быте народа, может служить меркою его гражданственности, проверкою его человечности, зеркалом его духа. Такая поэзия нема и бесполезна для людей чуждой нации и понятна только для того народа, в котором родилась она — подобно бессвязному лепету младенца, понятному и разумному только для любящей его матери.

В мифической и героической поэзии народа заключается субстанция его духа, по которой, как по данному факту, можно судить о том, чем будет народ, *что* и *как* может из него развиться впоследствии. Здесь слова «что» и «как» показывают историческую судьбу народа: так, например, мы увидим ниже, что из памятников русской народной поэзии можно доказать великий и могучий дух народа... Вся наша народная поэзия есть живое свидетельство бесконечной силы духа, которому надлежало однако ж быть возбуждену извне. Отсюда понятно, почему величайший представитель русского духа — Петр Великий, совершенно отрывая свой народ от прошедшего, стремясь сделать из него совсем другой народ, всё-таки провидел в нем великую нацию и не вотще пророчествовал о ее великом назначении в будущем. Отсюда же понятно, почему величайший и по преимуществу национальный русский поэт — Пушкин воспитал свою музу не на материнском лоне народной поэзии, а на европейской почве, был приготовлен не «Словом о полку Игоревом», не сказочными поэмами Кириши Давилова, не простонародными песнями, а Ломоносовым, Державиным, Фонвизиным, Богдановичем, Крыловым, Озеровым, Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским и Батюшковым — писателями и поэтами подражательными и нисколько не национальными, за исключением одного Крылова, которого басни, будучи национальными, всё-таки не суть вполне самобытное явление, ибо их образы найдены Крыловым не в народной поэзии, а у француза Лафонтена.¹ Такова естественная поэзия всех славянских

племен: богатая чувством и выражением, она бедна содержанием, чужда элементов *общего*, и потому не могла сама собою развиваться в художественную поэзию. Если русские, и, может быть, еще чехи, могут гордиться несколькими великими или примечательными поэтическими именами, — они первоначально обязаны этим соприкосновению своей истории к истории Европы и усвоенным у Европы элементам жизни. Прочие славянские племена — болгары, сербы, далматы, иллирийцы и другие, остались при одной народной поэзии, которая бессильна возвыситься на степень художественной. Что же касается до малороссиян, то смешно и думать, чтоб из их, впрочем прекрасной, народной поэзии могло теперь что-нибудь развиться: из нее не только ничего не может развиваться, но и сама она остановилась еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно тогда только, когда лучшая, благороднейшая часть малороссийского населения оставит французскую кадрили и снова примется плясать тропака и гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустив оселедец, — словом, из состояния цивилизации, образованности и человечности (приобретением которых Малороссия обязана соединению с Россиею) снова обратится к прежнему варварству и невежеству. Литературным языком малороссиян должен быть язык их образованного общества — язык русский. Если в Малороссии и может явиться великий поэт, то не иначе, как под условием, чтоб он был русским поэтом, сыном России, горячо принимающим к сердцу ее интересы, страдающим ее страданиями, радующимся ее радостями. Племя может иметь только народные песни, но не может иметь поэтов, а тем менее великих поэтов: великие поэты являются только у великих наций, а что за нация без великого и самобытного политического значения? Живое доказательство этой истины в Гоголе: в его поэзии много чисто малороссийских элементов, каких нет и быть не может в русской; но кто же назовет его малороссийским поэтом? Равным образом, не прихоть и не случайность заставили его писать по-русски, не по-малороссийски, но глубоко разумная внутренняя причина, — чему лучшим доказательством может служить то, что на малороссийский язык нельзя перевести даже «Тараса Бульбу», не только «Невского проспекта». Правда, содержание «Тараса Бульбы» взято из сферы народной жизни, но в нем автор не был поглощен своим предметом, но был выше его, владычествовал над ним, видел его не в себе, а перед собою, и потому во многих местах его рассказа виден его личный взгляд, его субъективное воззрение, и вот эти-то места и нельзя передать на малороссийское наречие, не опростонародив, не омужичив их, так сказать, — не говоря уже о том, что вся повесть, исключая разговоров действующих лиц, написана литератур-

ным языком, каким никогда не может быть язык малороссийский, сделавшийся теперь провинциальным и простонародным наречием.¹

Мы сказали, что племя, или даже и народ, еще не пробудившийся из естественного состояния к самосознанию, может иметь только народные поэмы и песни, но не может иметь поэтов, а тем более — великих поэтов. Истина этого положения доказывается самыми фактами. Кроме греков, которые по причинам, изложенным нами во второй статье, не могут служить примером, когда дело идет о чисто народной (в смысле естественной, непосредственной) поэзии, — кроме греков, <у> всех народов или мало известны, или и совсем не известны творцы народных произведений; но везде сам народ является их творцом. Разумеется, всякое отдельное народное произведение было обязано своим началом одному лицу, которое, с горя или с радости, вдруг запело его; но, во-первых, это лицо, сочинивши, или, говоря его собственным языком, *сложивши* песню, само не знало, что оно — поэт, и смотрело на свое дело не как на дело, а скорее как на безделье от нечего делать; во-вторых, песня, переходя из уст в уста, претерпевала много изменений, то прибавляясь, то убавляясь, то улучшаясь, то искажаясь, смотря по степени присутствия или отсутствия поэтического чувства в певших ее. Если у народа нет письмен — его поэтические произведения по необходимости хранятся в народной памяти и изустно передаются от поколения к поколению; если у народа есть письменна, — его поэтические произведения опять-таки хранятся в памяти и живут в устах народа, потому что народ, не возросший до самосознания, почитает унижением для высокого искусства писания заниматься «пересыпанием из пустаго в порожнее», т. е. поэзиею. Так, по крайней мере, было на Руси, хотя и не так было даже у восточных народов — индусов, арабов, персов, китайцев и других. Какие бы ни были причины этого явления, но автором русской народной поэзии является сам русский народ, а не отдельные лица, — и скудная сокровищница его произведений состоит большею частью из бесчисленных вариачтов слишком немногих текстов.² Обратимся к ним и начнем с эпических произведений.

Эпические поэмы бывают трех родов, *космогонические* и *мифические*, в которых выражается непосредственное воззрение народа на происхождение мира, религиозные и философские созерцания: *сказочные*, в которых видна особенность народной фантазии и которые суть эхо баснословно-героического быта младенствующего народа, и *исторические*, в которых хранятся поэтические предания исторической жизни народа, уже ставшего государством. Первых, т. е. *космогонических* и *мифических*, у нас нет почти совсем, а если бы что в этом роде и нашлось

со временем, так не стбит никакого внимания. Причина очевидна: мифология всех славян вообще, особенно северо-восточных, играла в их жизни слишком незначительную роль. Одно слово Владимира могло в один день и навсегда уничтожить наше язычество.¹ Его подданные как будто чувствовали, что не из чего хлопотать и не за что стоять, а все люди уж так созданы, что из ничего и не бьются. Одна уже мысль Владимира послать послов во все земли для узнания чужих вер достаточно указывает на отсутствие всякого своего верования, которое имело бы какую-нибудь субстанциальную действительность. Хотя г. Сахаров в своей книге «Сказания русского народа» и сильно восстает против *Гизеля, Попова, Чулкова, Глинки и Кайсарова* за искажение славяно-русской мифологии, но его, впрочем, энергическое восстание доказывает только то, что совершенно не из чего и не за что было восставать. Г-н Сахаров признает истинными славянскими богами только тех, о которых упоминается в хронике Нестора, а в ней упоминается, и то вскользь, мимоходом, только о семи богах (*Перуне, Волосе, Даждь-боге, Стрибоге, Семергле, Хрсе и Мокоше*), почти без всякого объяснения их значения, атрибутов, обрядов богослужения и пр. Г-н Сахаров ожидает от будущих трудов наших археологов великих открытий и пояснений касательно славянской мифологии: что касается до нас, мы ровню ничего не ожидаем, по самой простой причине: археология—прекрасная наука, но без данных, без фактов, она решительно ни к чему не служит, потому что, как ни мудри, а из ничего не добьешься ничего... Итак, этот предмет в сторону: на нет и суда нет; а если когда что найдется, так мы тогда и поговорим.

Древнейший памятник русской народной поэзии в эпическом роде есть, без сомнения, «Слово о полку Игореве». Хотя известно несколько сказок, в которых упоминается о великом князе Владимире Красном Солнышке, о его знаменитых богатырях — *Добрыне, Илье Муромце, Алёше Поповиче* и пр., но эти сказки явно сложены в гораздо позднее время, после татарского владычества: в них нет ни малейшего признака язычества, которое, каково бы оно ни было, не могло же не отразиться хоть внешним образом в современной ему эпохе, когда христианство еще не успело утвердиться в народе. В этих же сказках незаметно ни малейшей смеси языческих понятий с христианскими. Мало этого: дух и тон этих сказок явно отзываются новейшим временем, когда Русь была уже переплавлена горнилом татарского ига в единое государство. Какая-то *прозаичность* в выражении, простонародность в чувствах и поговорах царствует в этих сказках. Ничего этого нет и тени в «Слове о полку Игореве»: это произведение явно современное воспетому в нем событию и носит на себе отпечаток поэтического и человеческого духа

Южной Руси, еще не знавшей варварского ярма татарщины, чуждой грубости и дикости Северной Руси. В «Слове» еще заметно влияние поэзии языческого быта; изложение его более историческо-поэтическое, чем сказочное; не отличаясь особенною стройностью в повествовании, оно отличается благородством тона и языка. Понятно, как некоторым могла прийти в голову мысль, что это произведение есть подделка вроде Оссиановых поэм: в нем боярыни не пьют зелена вина, не бьют друг друга; нет площадных выражений, нет чудовищных образов, нет признаков тех грубо-мещанских обычаев, которыми преисполнен сборник Кириши Данилова.

«Слово о полку Игореве» подало повод к жестокой войне между нашими археологами и любителями древности: одни видят в нем дивное произведение поэзии, великую поэму, благодаря которой нам нечего завидовать «Илиаде» греков; другие отвергают древность его происхождения, видят в нем позднейшее и притом поддельное произведение; третьи не видят в «Слове» никакого поэтического достоинства.¹ Что касается до нас, мы решительно не согласны ни с теми, ни с другими. «Слово о полку Игореве» так же похоже на «Илиаду», как славяне его времени на греков, а Игорь и Всеволод на Ахилла и Патрокла. Певца «Слова» так же нельзя равнять с Гомером, как пастуха, прекрасно играющего на рожке, нельзя равнять с Моцартом и Бетховеном. Но тем не менее это — прекрасный благоухающий цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения. Что же касается до того, точно ли «Слово» принадлежит XII или XIII веку,² и не поддельно ли оно — об этом странно и спрашивать: на подобные вопросы сама поэма лучше всего отвечает, и вольно же скептикам судить о ней по разным внешним соображениям, а не на основании самой поэмы.

Очень жаль, что, имея «Слово о полку Игоревом» вполне, мы должны читать его отрывками, потому что многие места его искажены писцом до бессмыслицы, а некоторые темны, потому что относятся к таким современным обстоятельствам, которые вовсе непонятны для нас. Да и притом, кто поручится, что в единственной найденной рукописи «Слова» не пропущены целые места? Кому случалось читать в рукописных списках ходячие по рукам поэмы Пушкина, тот не будет удивляться искажению «Слова» каким-нибудь безграмотным и невежественным писцом XIII-го или XIV-го века. Если бы по одному из подобных списков надо было восстановить через два столетия текст, например, хоть «Кавказского пленника», — то принуждены были бы отказаться от такого несовершенного подвига. А что бессмыслицы и темноты «Слова о полку Игоревом» принадлежат не его автору, а писцу — неопровержимым доказательством этого служат поэтические красоты в подробностях и интерес целого

повествования поэмы. Но восстановить текста нет никакой возможности: для этого необходимо иметь несколько рукописей, которые можно было бы сличить. Хотя наши любители русской старины не только пытались объяснить и переводить сомнительные места в поэме, но и остались в уверенности, что успели в этом, однако ж мы, тем не менее, должны отказаться от мысли видеть в «Слове» полное и целое сочинение. Для доказательства справедливости нашей мысли приводим здесь значительную часть бессмыслиц и темнот.¹

Помняшь ли бо² прьвых времен усобице; тогда пушашеть 10 соколов на стадо лебедей который дотечаше, то преди песнь пояше, старому Ярославу, храброму Мстиславу, нже зареза Редедю пред пълкв касожьскими, красному Романови Святъславличю.

В первом издании 1800 года «Слова о полку Игоревом» это место переведено так: «Памятно нам по древним преданиям, что, поведаю о каком-либо сражении, применяли оное к десяти соколам, на стадо лебедей пущенным: чей сокол скорее долетал, тому прежде и речь³ начиналася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю перед полками касожскими, или красному Роману Святославичю». Очевидно, что это перевод произвольный, основанный на неудачной догадке, — перевод мысли, которой нет в тексте; к тому же в этом переводе нет логического смысла, хотя и есть смысл грамматический.⁴ Шишков, переделавший «Слово» в риторическую поэму наподобие «Гонзальва Кордуанского» и «Кадма и Гармонии»,⁵ Шишков объясняет это место с большею основательностью, но всё-таки произвольно, — и если в его переводе есть смысл, зато текст всё-таки остается без смысла. Вот его перевод этого места: «Из древних преданий известно нам, каким образом славные во бранях князя и полководцы решали состязание свое о преимуществе. Десять мужей выезжали на чистое поле, каждый с соколом в руке; они пускали их на стадо лебединое: чей сокол скорее долетал, тот и первенство одерживал, тому и песнь воспевалася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю пред полками касожскими, либо благоразичному Роману Святославичю».

Тогда Игорьъ възре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя вон прикрыты...

Перевод: «Тогда взглянул он на солнце светлое и, увидев мраком покрытое всё войско свое, произнес...» Шишков: «Но Игорь пребывает непоколебим в намерении своем; не устрашает его грозное чело нахмуренной природы... Текст стоит перевода и переводы стоят текста!..⁶

Спала князю умъ похоти, и жалость ему знаменне заступи, искусити Дову великаго.

Перевод: «Пришло князю на мысль пренебречь худое предвещание и изведать счастья на Дону великом». Шишков совершенно изменил это место, переделав его в высокопарную шумиху слов и фраз.¹

Солнце ему тьмою путь заступаше.

Перевод: «Солнце своим затмением преграждает путь ему». Шишков: «помрачась, мешало ему идти». ² Если так переводить, то конечно нет на свете бессмыслицы, которой бы нельзя было перевести и ясно и красноречиво...

О русская земле! уже не Шеломяем еси.

Перевод: «О русские люди! уже вы за Шеломенем», Шишков переводит так же.³

Дети бесови кликом поля прегородиша, а храбрые Русьци прегородиша чрвленными щиты.

Перевод: «Бесовы дети оградили стан свой криком, а храбрые россияне багряными щитами». Шишков: «Нечестивые чада устремляются на них с воплем: храбрые россы противопоставляют им щиты свои». В последнем переводе есть смысл; но где же он в подлиннике-то?⁴

Бориса же Вячеславлича слава ва суд приведе; и на канину зелену наполому постла, за обиду Ольгову храбра и млада князя.

Перевод: «Бориса же Вячеславича слава на суд привела; он положен (?) на конскую попону зеленую за обиду молодого храброго князя Олега». Шишков совсем выпустил это место, вероятно, по невозможности объяснить, зачем именно клали князя на конскую попону...⁵

С тоя же Каялы Святоплъкъ повелея отца своего между угорьскими иноходцы к святей Софии к Киеву.

В книге г. Сахарова в этом месте слово «повелея» заменено словами «повезе я».

Перевод: «С той же Каялы вел Святополк войска отца своего сквозь венгерскую конницу в Киев ко святой Софии». Шишков совсем выпустил это место, и не мудрено: в нем нет и тени даже грамматического смысла. Что такое «повелея»? — Чистейшая бессмыслица. Что такое «повезе я»? — Тоже чистейшая бессмыслица. О войске и помину нет в тексте. Притом, неужели «угорьский иноходцы» — точно венгерская конница, кавалерия?⁶

Тогда по русской земли ретко ратаеве кихахуть.

Перевод: «И в русской земле редко веселие земледельцев»

раздавалось» — это перевод наудачу: что значит слово «ки-кахуть» и было ли такое слово?¹

Убуди жирня времена.

Перевод: «Разбудила времена *тяжкие*». Почему же здесь слово «жирня» переведено словом «тяжкие»?²

За ним кливку Карна и Жля, поскочи по русской земли, смагу мычюи в пламяне розе.

Перевод: «Воскликнули тогда Карна и Жля и, прискакав в землю русскую, стали томить и огнем и мечом». Опять не перевод, а произвольное толкование!³

Чръпахуть мн свнее вино с *трудом* смешено.

В переводе сказано «с ядом смешанное»; а где же доказательства, что здесь *труд* значит *яд*?⁴

Всю ночь с вечера *босуви* врани взграяху.

Что такое «босуви»?⁵

Уже тресву нужда ва волю.

Перевод: «Уже насилие восстало на вольность».⁶

А уже не вижду власти сильного и богатого и много вой брата мое: Ярослав с черниговскими *былями* (?), с *могуты* (?), и с *табраны* (?), и *шельбиры* (?), и с *топчакы* (?), и с *ревугы* (?), и с *ольберы* (?). Тви бо б щитов с засапожвикы клином плъкы побеждают, звонячи в прадедик славу.

Не приводим перевода: он так же ясен, как и текст.⁷

Великому хръсови вълком путь прерыскаше.

Об этой фразе сам Шишков сказал: «Невразумительно!»⁸

Игорь спит, Игорь бдит.

Перевод: «Игорь лежит, Игорь *не* спит»...⁹

Можно б было и еще столько же привести необъяснимых темнот и бессмыслиц; но довольно и этих, чтобы читатели могли судить, до какой степени можно наслаждаться в целом «Словом о полку Игоревом». Тем не менее, все темноты и бессмыслицы мы приписываем не «Слову», а рукописи и ее писцу, ибо естественно допустить бессмыслицы в пьесе, отличающейся смыслом в целом и поэтическими красотами в частности. Чтобы произнести суд над поэтическим достоинством этой поэмы, нам должно изложить ее содержание.

Автор «Слова» начинает обращением к слушателям, обещая им песню по «былинам своего времени, а не по замышлению Бояню: Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». Это указание на Бояна очень любопытно:

значит, был человек, прославившийся песнями. Наши литераторы и пииты доброго старого времени (которое, впрочем, очень недавно было еще новым) сделали из Бояна нарицательное имя вроде *минстреля*, *трувера*, *трубадура*, *барда* и, обрадовавшись этому, начали прославлять процветание богатой русской литературы до XII века. Но из «Слова» ясно видно, что Боян имя собственное, принадлежавшее одному лицу, вероятно, жившему во времена язычества или вскоре по его падении, которое было вместе и падением поэзии, с тех пор ставшей на Руси бесовскою потехою, «пересытанием из пустого в порожнее». Частые обращения певца Игоревя к Бояню, — обращения, исполненные энтузиазма и благородных поэтических образов, — не допускают никакого сомнения в существовании этого Бояна, «сольвья старого времени». Конечно, это не был Гомер своего рода, как думал Шишков, ни даже что-нибудь похожее на творца «Илиады»; но после похвал даровитого автора «Слова» нельзя не сожалеть искренно о том, что время и невежество истребили песни Бояна, который «своя вещья пръсты на живая струны вскладаше — они же сами князем славу рокотаху».

«Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешняго Игоря», — говорит певец, — и начинает совсем не с старого Владимира, а прямо с Игоря, «иже истягну умь крепостию своею и поостри сердца своего мужеством, наплънив-ся ратного духа, наведе своя храбрые плъки на землю половецкую за землю русскую». Хочу, сказал он своей дружине, переломить с вами, *русици*, копье на земле половецкой, хочу либо положить свою голову, либо *испытъ шеломам Дону*. Не буря занесла соколов чрез поля широкие — то летят стадами галици* к Дону великому: тебе бы воспеть это, внук Велесов, Боян вещей! Кони ржут за Сулою, гремит слава в Киеве; трубы трубят в Новеграде, веют знамена** в Путивле; Игорь ждет милого брата Всеволода. И молвил ему буйтур*** Всеволод: «Один ты брат у меня, один *свет светлый*, о Игорь! Оба мы Святославичи! Седлай ты, брат, своих борзых коней, а мои давно готовы для тебя и стоят оседланы у Курска. А курыне мои в метании стрел искусны, под звуком труб они повиты, концем копья вскормлены, пути им ведомы, овраги знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Тогда Игорь-князь вступил в золотое стремя и поехал по чистому полю.

За сим следует темное и нескладное (вследствие искажения

* галки.

** В подлиннике: «Стоять стязи в Путивле».

*** *Буйтур* составлено из слов *дикий* и *вол*; по основательному замечанию Шихова, вероятно из «буйтура» впоследствии произошло слово «богатырь».¹

текста писцом) описание грозных предвещаний природы. «Орлы клетком сзывают зверей на трупы, лисицы лают на багряные щиты воинов. Дружина Игорева уже за Шеломенем. День меркнет, свет зари потухает, мгла покрывает поля, засыпает *щекот славий*, умолкает говор галичий». Очевидно, что весь этот отрывок, поневоле сокращенный нами, по причине искажения текста, в первобытном подлиннике полон высоких красот поэзии. Сколько можно чувствовать, несмотря на искажение, есть что-то зловещее, фантастическое в изображении грозно настроившейся природы, особенно в этом клетке орлов, сзывающем зверей на кровавый пир, и в лае лисиц на багряные щиты воинов.

Поутру *русичи* потоптали поганые полки половецкие и, рассыпавшись, словно стрелы, по полю, помчали красных девиц половецких, а с ними золото, и паволоки, и драгие оксамиты; япончицами и кожухами начали мосты мостить по болотам и *грязивым местам* и всякими узорочьями половецкими. Червлёный стяг, белая хоругвь, багряная чолка, серебряное древко храброму Святославичу. Дремлет в поле храброе гнездо Олегово — далеко залетело оно; не родилось оно на обиду ни соколу, ни кречегу, ни тебе, черный ворон, поганый половчанин!

На другой день, вельми рано, появляется свет кровавой зари, идут с моря черные тучи, хотя закрыты четыре солнца, блещут синими молниями; быть грому великому, литься дождю стрелами с Дону великого; поломаться тут копьям, притупиться тут саблям о шеломы половецкие, на реке Каяле, у Дону великого. Се ветры, внуки Стрибожии, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы; земля звучит, реки мутно текут; мглою поля покрываются; знамена голос дают, половцы идут от Дона и от моря, и ото всех сторон. Русские полки отступили. Яр туре Всеволод, стоишь ты на стороже,¹ прыщешь на врагов стрелами, булатными мечами гремишь о шеломы их. Куда ни бросишься ты, туре, золотым шеломом своим посвечивая, там лежат поганые головы половецкие, и *поскепаны* калеными саблями оварские шеломы от тебя, яр туре Всеволод! Что ему раны, когда забыл он и почести, и жизнь, и город Чернигов, и золотой престол отеческий, и свычаи и обычаи своей милой *хóти*, прекрасной Глебовны! (Здесь певец делает отступление, обращаясь к смутам и междуособиям прежних времен и не находя в них ни одной битвы, которая могла бы сравниться с битвою Игоря и Всеволода с половцами).

С утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, звучат сабли о шеломы, трещат копья булатные в поле незнаемом, среди земли половецкой. Черная земля под копытами костьми была посеяна, а кровию полита; возросла на ней беда для земли русской. Что мне шумит, что мне звенит рано перед зарею? Игорь полки поворачивает; жаль бо ему милого брата Все-

волода. Билися день, билися другой: на третий день к полудню пали знамена Игоревы. Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы. Недостало тут вина кровавого; тут и коичили пир храбрые русичи: сватов попили, да и сами легли за землю русскую. Поникла трава от жалости, и дерево к земле преклонилось от печали.

(Здесь опять следует небольшое отступление, состоящее из жалоб на междуособия. Все эти отступления особенно интересны как свидетельство, что поэма современна воспетому в ней событию).

О, далеко залетел ты, сокол, гоня птиц к морю: а Игореву храброго полку уже не воскресити! Тогда взревели Карна и Жля и ринулись в русскую землю с огнем и мечом. Всплакались жены русские, приговаривая: уже нам своих милых лад ни мыслию взмыслити, ни думою вздумати, ни очами узрети; а волота и серебра не возвратити! Взстонал тогда, братие, Киев тугою, а Чернигов напастями; тоска разлилася и *печаль жирна* потекла по земле русской; а князи сами на себя крамолу ковали...

(Здесь снова жалоба на междуособия; воспоминание, как сильны были прежде князья русские, как громили они землю половецкую, как страшен был половцам великий князь киевский Святослав Грозный, отец Игоря и Всеволода).

Немци и венеदिци, греци и моравы поют славу Святославу, кают* князя Игоря, «иже погрузи жир во дне Каялы, реки половецкия, русскаго злата насыпаша». Святославу — родителю приснился дурной сон. «В Киеве, на горах, в сию ночь одевали меня (говорит он боярам) черным покровом, на тесовой кровати. Наливали мне синего вина с *трудом смешанного*; высыпают мне на лоно из пустых колчанов нечистые раковины с крупным жемчугом, и негуют меня; а в моем златоверхом тереме все доски без перекладкины.**² Всю ночь с вечера каркали враны». И отвечали бояре князю: «Печаль одолела ум паш, княже; слетели бо два сокола с золотого престола отеческого, поискати града тьмотораканского либо испити шеломом Дону, и тем соколам обрублены крылья саблями нечестивых, и сами они попались в пути железные. Темно стало на третий день: два солнца померкли, оба багряные столбы погасли, а с ними и молодые месяцы — Олег и Святослав — тьмою заволоклися. На реке на Каяле тьма свет покрыла: по русской земле рассыпались половцы, как из леопардова логовища. Раздаются песни красных девиц *готских* на берегу синего моря; звеня русским золотом, воспевают они время Бусово, лелеют песнь Шароканю.***³ Тогда великий Свято-

* хают, порицают.

** В тексте: «Уже дьски без *кнеса* в моем тереме златоверхем».

*** Намек на какой-нибудь удачный набег на землю русскую.¹

слав изронил слово злато, с слезами смешано, и молвил: «О, сыны мои, Игорь и Всеволод! Не во-время вы начали добывать мечами землю половецкую, а себе славы искать. Нечестно ваше одоление, несправедливо пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши из крепкого булата скованы, а в *буести* закалены. Сего ли ожидал я от вас серебряной седине моей? Уже не вижу я власти сильного и богатого брата моего, Ярослава, и его дружину великую! Они и без щитов, кликом одним врагов побеждали, гремя славою предков. Не говорили они: предстоящую славу сами похитим, а прошедшею с другими поделимся. А диво ли, братие, старому помолодети? Когда сокол в мытях бывает, то высоко гонит птиц и не даст гнезда своего в обиду. Но то горе, что мне князья не в пособие; время всё переименило.

(Не понимаем тотчас же следующего за сим места: есть ли оно продолжение речи князя Святослава или тут поэт начинает говорить от себя?¹ Всё это место состоит в жалобах на «усобицу», как причину настоящих бедствий, и в воззвании к современным князьям, которые, по своему разъединению, уже не в силах подать помощь плененному Игорю. Воззвание начинается с князя Всеволода:)

Великий княже Всеволоде! Не помыслишь ли ты прилетети издалеча постоять за златой престол отеческий? Ты можешь Волгу раскропить веслами, а Дон шеломами вычерпать. Когда ты был здесь, *чага* (?) ходила бы² по ногате, а *кощей* по резани.* Ты можешь посуху стреляти живыми ше(ре)ширами** — удалыми сыновьями Глебовыми. И ты, буй Рюрик и Давид, не вы ли плавали в крови по шелома золоченые? Не ваша ли храбрая дружина рыкает подобно волам, израненным саблями калеными в поле незнаемом? Вступите, государи, в стремена златые, за обиду нашего времени, за землю русскую, за раны Игоря, *буего* Святославича! А ты, Ярослав, осмосмысл⁴ галицкий! Высоко сидишь ты на своем златокованном престоле, подпер ты горы угорские своими полками железными, заградил ты путь королю, запер ворота к Дунаю, меча *бремена* (?)⁵ за облака, творя суд до Дуная! Гроза твоя по землям течет, отворяешь ты врата киевские, с отчего престола стреляешь в салтанов далеких! Стреляй, господине, в Кончака, кощей поганого, за землю русскую, за раны Игоря, *буего* Святославича! А ты, буй Роман и Мстислав, храбрая мысль носит ваш ум на дело. Высоко плаваешь на дело в *буести*, словно соколы ширяясь на ветрах, стремясь и птицу одолеть в *буести*! у вас латы (?)*** железные под шлемами латинскими; от них потряслася земля

* Ногата и резань — самые мелкие монеты того времени.

** Ше(ре)ширы — вероятно, название какого-нибудь военного орудия.³

*** В тексте: *папорги*.⁶

и многие страны ханские. Литва, ятваги, деремела и половцы повергли перед вами свои копья* и главы свои преклонили под ваши мечи булатные!..** Заградите в поле путь своими острыми стрелами, за землю русскую, за раны Игоря, *буего* Святославича! Уже Сула не течет струями серебряными ко граду Переяславлю и Двина болотом идет к грозным половецким, под кликами поганых. Един лишь Изяслав, сын Васильков, позвонил своими острыми мечами о шелома литовские; помрачил славу деда своего, да и сам поблек под червлеными щитами, на кровавой траве, от литовских мечей. Не захотел скончаться на одре и рек самому себе: «Дружину твою, княже, крылья птиц приделали, а звери кровь полизали!» Не было тут с ним брата Брючислава, ни брата Всеволода: один он изронил жемчужную душу из храброго тела, чрез златое ожерелье. Уныли голоса, поникло веселие. О, Ярослав и все внуки Всеслава! Поникнуть знаменам вашим, вложить вам в ножны свои мечи поврежденные; отстали вы от славы дедовской! Вы, своими крамолами, начали наводить нечестивых на землю русскую, на жизнь Всеславу. Когда прежде бывало иасилие от земли половецкой?

(Здесь следует опять совершенно непонятное место, которое выписываем в подлиннике: «На седьмом веде Трояни вѣрже Всеслав жребий о девицу себе любу. Тѣй *клюками* подперся о кони, и скочи к граду Киеву, и дотчеса стружием злата стола киевскаго. Скочи от них (*от кого?*) лютым зверем в плъночи, из Бела града, обесися сине мгле, утр же возни стрикусы (?) отвори врата Новуграду, расшибе славу Ярославу, скочи влъком до Немиги с Дудуток». По всем вероятностям, темнота этого места происходит сколько от описок в рукописи, столько и оттого, что тут не описывается, а только намекается на обстоятельство слишком современное, и потому всем известное в эпоху певца «Слова». ² Всеслав, о котором идет речь, вероятно, был удалец из удальцов, и всё это место есть поэтическая апофеоза, в духе того времени, его подвигов, отличавшихся удалством и быстротою. *Клюки*, которыми он *подперся о кони*, могут означать не костыли, необходимые для хромого, а название какого-нибудь прибора для верховой езды. Что же касается до «седьмого веку Трояни» — *Троянов* век и *Троянова* земля очень часто упоминаются в «Слове», и еще никто не объяснил их значения.³ Хотя всё последующее за выписанным нами в тексте местом и также непонятно в историческом значении, однако понятно, за исключением одной фразы, по смыслу и полно необыкновенной поэзии:)

* В тексте: *сулицы*.

** Пропущено целое место, которого **никак** нельзя **понять**, а следовательно, и перевести.¹

На Немиге снопы стелют головами, молотят цепями булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Кровавые береги Немиги не травой засеяны: засеяны они костями русских сынов. Всеслав князь людей судил, князьям города раздавал, а сам по ночам волком рыскал от Киева до Курска и Тьмутаракани. Ему в Полоцке рано зазвонили заутреню у святой Софии; а он в Киеве звон слышал. Хотя и вещая душа была в его *друае* (?)¹ теле, но и он часто от бед страдал. Про него-то вещей Боян сложил сей разумный припев: *ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду, суда божиа не минути!* О, стонать тебе, земля русская, вспоминая прежние времена и прежних князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским...

Ярославнин голос раздается рано поутру:

Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукав в Каялереке, отру князю кровавые раны на *жестоком* теле его?

Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, *аркучи*:

О ветер, о ветер! зачем, *господине*, так сильно всешь? Зачем на своих легких крыльях мчишь ханские стрелы на воинов моей *лады*? Или мало для тебя гор, чтобы веять под облаками, лелеючи корабли на синем море? Зачем, *господине*, развеял ты мое веселие по ковыль-траве?

Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, *аркучи*:

О Днепр пресловутый! Ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе ладьи Святославовы до стану Кобякова: взлелей же, *господине*, мою *ладу* ко мне, чтобы не слала я к нему по утрам слез моих на море.

Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, *аркучи*:

Светлое и пресветлое солнце! Всем и красно и тепло ты: зачем, *господине*, простер горячий луч свой на воинов моего лады, в безводном поле жаждою луки им сопряг, печалию им колчаны заткнул?

Прыснуло море в полуночи; идут смерчи мглами: князю Игорю бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую, к златому престолу отчему. Погасла заря вечерняя: Игорь и спит и не спит, Игорь мыслию поля мерит от великого Дону до малого Донца. Конь готов с полуночи; Овлур свистнул за рекою, чтоб князь догадался. Уже нет там князя Игоря. Застонала земля, зашумела трава, всколебались вежи половецкие; а Игорь-князь горностаем бросился к тростнику и гоголем на воду; вскочил на борзого коня, и соскочил с него *босым* волком и побежал к лугу Донца, и полетел соколом под облаками, избивая гусей и лебедей на завтрак, обед и ужин. Когда Игорь соколом летит, тогда Влур волком бежит, отрясая с себя росу

холодную; ибо истомили они своих борзых коней. И молвил Донец: «Княже Игорю, не мало для тебя величия, а Кончаку нелюбия, а русской земле веселия!» И молвил Игорь: «О Донче! Не мало тебе величия, что ты лелеял князя на волнах, постигал ему зелену траву на своих *серебряных* берегах, одевал его теплыми мглами под сению зеленого дерева, стерег меня и гоголем на воде, и чайками на струях, и чернядями на ветрах. Не так-кова, примолвил он, река Стugna: дурна струя ее, пожирает чужие ручьи и разбивает струги о берег. Юноше князю Ростиславу ватворил Днепр берега темные. Плачется мати Ростислава по юноше князе Ростиславе. Уныли цветы от жалости и дерево с тугою к земле преклонило».

По следу Игореву ездит Гзак с Кончаком. Тогда враны не каркали, галицы помолкли, сороки не стрекотали; ползая по сучьям, только дятлы тектом путь к реке кажут, соловьи веселыми песнями свет поведают. Молвит Гзак Кончаку: «Когда сокол к гнезду летит, то соколенка* расстрелием своими стрелами золочеными». Молвит Кончак ко Гзаку: «Когда сокол к гвезду летит, то опутаем соколенка красною девицею». И сказал Гзак Кончаку: «Если опутаем его красною девицею, то не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы, и почнут нас птицы бить в поле половецком».

Сказал Боян: тяжело голове без плеч, худо телу без головы, а русской земле без Игоря. Солнце светится на небеси, а Игорь-князь в русской земле. Девицы поют на Дунае. Вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы, поют песнь старым князьям, а потом молодым. Пета слава Игорю Святославичу, буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Да здравствуют князи и дружина, поборающие за христиана на неверные полчища! Князьям слава, дружине аминь!¹

Мы хотели было ограничиться только изложением содержания «Слова о полку Игоревом», и, чтобы некоторым образом заставить его говорить за себя, хотели только местами выписывать самые характеристические выражения и самые оригинальные образы; но против нашей воли до того увлеклись его красотами, что, вместо голого содержания, представили читателям полный по возможности перевод. Думаем, что читатели не посетуют на нас за это: «Слово о полку Игоревом» играет в нашей литературе роль какого-то невидимки; публика слышит о нем самые противоречащие мнения, которых поверить ей нет возможности. Причина очевидна: не у всякого станет терпения и

* Относится к сыну Игоря, оставшемуся в плену.

охоты прочесть искаженный подлинник, писанный языком столь устаревшим, что он по своей устарелости требует гораздо больше труда, нежели сколько в состоянии доставить наслаждения, исполненный непонятных слов и оборотов, сомнительных, темных, а часто и бессмысленных мест.

Переводы же не дают о нем верного понятия, потому что переводчики хотели переводить его всё — от слова до слова, не признавая в нем непереводаемых мест. Некоторые из них просто пересочиняли его и свои собственные, весьма неинтересные изделия¹ выдавали за простодушную и поэтическую повесть старых времен. Мы же, во-первых, исключили из нашего перевода всё сомнительное и темное в тексте, заменив такие места собственными замечаниями, необходимыми для связи разорванных частей поэмы, а в переводе старались удержать колорит и тон подлинника, а для этого или просто выписывали текст, подменяя только грамматические формы, или между новыми словами и оборотами удерживали самые характеристические слова и обороты подлинника. И потому наш перевод дает самое близкое понятие о «Слове» и, вместе с тем, дает читателю возможность поверить наше мнение об этом примечательном произведении народной поэзии древней Руси.

Мы не считаем за нужное доказывать, что «Слово о полку Игоревом» отличается неподдельными поэтическими красотами, что оно исполнено наивных и благородных образов: мы для того и включили его в нашу статью, чтобы не толковать, что дважды два — четыре, а не пять. Читайте и судите сами; если не понравится, то нам нечего делать с этим: кому само дело не говорит за себя, тем уж не помогут толкования. Между читателем и критиком, чтобы они понимали друг друга, необходимо должно существовать нечто вроде симпатии, нечто вроде заранее заключенного условия о том, что хорошо и что худо.

Дело критика не доказывать, поэтическое или непоэтическое такое-то произведение: подобный вопрос решается непосредственным чувством читателя, а не доказательствами критики; дело критика — показать не поэтическое достоинство, а степень поэтического достоинства в данном произведении, его идею, полноту, оконченность. На этот счет мы не обинуясь скажем, что «Слово о полку Игоревом» отличается неподдельными красотами выражения, что, со стороны выражения, это — дикий полевой цветок, благоухающий, свежий и яркий. Но в поэтических произведениях выражение еще не составляет всего: всё заключается в идее, и выражение потопику возвышает достоинство произведения, поколику в нем высказывается идея. В «Слове о полку Игоревом» нет никакой глубокой идеи. Это больше ничего, как простое и наивное повествование о том, как князь Игорь с удалым братом Всеволодом пошел с своею дружиною

подраться с половцами, сперва разбил их, а потом сам был разбит наголову, попался в плен, из которого, наконец, ему удалось ускользнуть.¹ Беспредостановочные обращения к междуусобиям князей, или намеки на них, также составляют содержание и, сверх того, исторический фон поэмы. Источником исторического произведения поэзии может быть только история народа, и произведение потопику может отличаться глубокою идеею, поколику полна «общим содержанием» жизнь народа. Времена междуусобий с первого взгляда могут казаться самым поэтическим периодом в русской истории; но если глубже и пристальнее взглянуть в сущность и значение этого времени, то увидишь, что в нем не было никаких элементов, которые могли бы дать поэзии содержание; но были только элементы для поэзии чувства и выражения, по общему закону — где жизнь, там и поэзия. Есть резкое различие между поэзией души человеческой и между поэзией общества человеческого, поэзией историческою: первая существует и у диких племен; вторая только у народов, предназначенных играть великую роль на арене всемирно-исторического развития человечества. И потому «Слово о полку Игоревом» не только не идет ни в какое сравнение с «Илиадою», но даже и с поэмами средних веков вроде «Артура и рыцарей Круглого стола». Для пояснения этой мысли сравните жизнь Западной Европы средних времен с жизнью Руси в XII веке: какая разница! В феодализме заключалась идея; удельная система, повидимому, была случайностию, порождением естественных, патриархальных понятий о праве наследства. Феодализм вышел из системы завоевания: целый народ двигался на завоевание другого народа; покорив его, основывался, делался оседлым на завоеванной земле. Так как у завоевателя личную силу давало не рождение, а храбрость и заслуга, то избранный главою войска брал себе часть завоеванной земли, а всё остальное делил на участки между своими сподвижниками. Отсюда произошли бесчисленные следствия, без сознания которых не может быть объяснена даже современная нам история Европы. Сподвижники главного вождя, получив свои участки, естественно, смотрели на него не как на своего властелина, а как на старшего товарища по оружию, во всем прочем равного им, и почитали себя вправе по собственному произволу смотреть на него как на друга или как на врага и, сообразуясь с этим, становиться к нему в приятное или неприятное отношение. Простые воины, не получившие участков, поступали на жалованье к своим патронам, а не властелинам, селились на их земле и платили им за то военною службою: образовался класс вассалов — свободных воинов, не рабов. Завоеванный же народ, по праву завоевания, делался собственностью, рабом завоевателя, кроме, разумеется, людей высшего

сословия, которым политика завоевателей предоставляла равные права, на условия покорности. Из этого положения возникла борьба, результатом которой было разумное развитие. Завоеванный народ, питая ненависть к завоевателю, образовывал собою самостоятельный элемент государственной жизни, — и борьба не переставала ни на минуту. Когда же языки обоих народов сливались в один язык, а оба народа в один народ, тогда элемент завоевателя образовался в аристократию, элемент завоеванного — в низший класс общества, и из борьбы возникали, с одной стороны — натиск утвержденных временем исключительных прав, с другой — упругий отпор, или оппозиция. Отличительное свойство идеи таково, что она не стоит на одном месте, не является ни на минуту чем-то особенным, определенным, оторванным от прошедшего и будущего, но беспрестанно движется, из старого рождая новое. Право аристократии сперва было не чем иным, как правом сословия, справедливо гордившегося высокостием своих чувств, благородным образом мыслей, и не без основания почитавшего себя вправе с презрением смотреть на низкую чернь, как на предназначенную от природы для низких нужд жизни. Возникновение городов и среднего сословия было первым шагом к изменению этих отношений. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами, борьба, бывшая не случайностию, а естественным результатом положения дел, и необходимая для сформирования государства в единое политическое тело. Монархизм нашел себе естественного союзника в городах, города — в монархизме, и оба они стали грудью против рыцарства, до тех пор, пока рыцарство, переродившееся в аристократию, или вельможество, снова не явилось естественным союзником монархизма, и только в другом виде, но всё прежним врагом и среднего сословия и народа.

Мы потерялись бы во множестве элементов, из которых складывается европейская жизнь и которые все вышли из одного источника и суть не что иное, как единая, бесконечно развивающаяся, вечно движущаяся из самой себя идея. Нет ни тени этого в древней русской жизни. Удельная система была точь-в-точь то же самое, что теперь помещицкая система: отец-помещик, умирая, разделяет поровну своих крестьян между своими сыновьями. В России не было завоевания, а потому одинокий элемент народной жизни, не спавший в борьбе с другим элементом, лишен был возможности развития. Что ни говори господ *скандинавов* и сколько трактатов ни пиши они, но, вопреки всем их обветшалым доказательствам, если Русь и призвала иноземных властителей княжати над собою, — кто бы ни были эти властители — турки или поморские славяне (померанцы), только не скандинавы. ¹Норманны, хотя бы и были сами призваны мирно и честно, не пришли бы с малою дружиною, не потеряли бы

в управляемом ими племени своей народности, но внесли бы в его жизнь свою народность, внесли бы феодализм, военное право, рыцарские понятия, и самый русский язык не оставили бы в его первобытной чистоте, но вместе с новыми понятиями ввели бы и множество новых слов и оборотов. Но как ничего этого не видно и следов, то варяжские или, пожалуй, русские князья были просто-напросто или припонтийские татары (хазары), или прибалтийские славяне. И потому из немудреной причины и произошли нехитрые следствия. Удельная система — самая естественная и простодушная из всех систем в мире — принесла только внешнюю пользу России, сделавшись причиной ее внешнего расширения. В междоусобиях князей нет никакой идеи, потому что их причина — не племенные различия, не борьба разнородных элементов, а просто личные несогласия князей. Народ тут не играл никакой роли, не принимал никакого участия. Черниговцы дрались с киевлянами не по племенной ненависти, а по приказанию князей своих. В повести Пушкина «Дубровский» превосходно выражена удельная борьба в раздоре крестьян Троекурова и Дубровского: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля, бить скот и поджигать избы.

«Слово о полку Игоревом» принадлежит к героическому периоду жизни Руси; но как героизм Руси состоял в удалстве и охоте подражать, без всяких других претензий, то «Слово» и не может назваться героическою поэмою. Действие героической поэмы должно быть сосредоточено на одном лице, которое должно осуществлять собою все, или, по крайней мере, хотя одну из субстанциональнейших сторон духа своего народа. Игорь же только внешним образом является героем «Слова»: это какой-то образ без лица; в нем нет ничего индивидуального; он лишен всякого характера; личности его нисколько не видно, нет никаких данных считать его представителем народа. Сверх того, он заклоняется то удалым братом своим, *буйтуром* Всеволодом, то отцом своим Святославом, то, наконец, своею храброю дружиною. Участие его в поэме больше страдательное, чем деятельное. Он объявляет дружине, что хочет или сложить голову в земле половецкой, или испить шеломом Дону великого, приглашает храброго брата своего Всеволода, всдет свою дружину в половецкую землю, выигрывает битву, потом проигрывает другую и, попавшись в плен, исчезает из поэмы: большая часть ее состоит в речи Святослава и плаче Ярославны. Потом уже, в конце поэмы, Игорь снова является на минуту, убегаая из плена. Вообще, он ничем не возбуждает к себе нашего участия. Хотя Всеволод тоже обрисован очень слабо и как бы вскользь, однако он больше является героем в духе своего времени. Его речь к Игорю дышит страстью и вдохновением боя. В битве он

рисует на первом плане и заслоняет собою бесцветное лицо Игоря. Святослав является не как действующее лицо, но голо- сом истории, выразителем политического состояния Руси: за ним явно скрывается сам поэт. Вообще, в поэме нет никакого драматизма, никакого движения; лица поглощены событием, а событие совершенно ничтожно само по себе. Это не борьба двух народов, но набег племени на соседнее племя. Очевидно, что все эти недостатки поэмы заключаются не в слабости таланта певца, но в скудости материалов, какие могла доставить ему народная жизнь. Здесь причина и того, что сам народ является в поэме совершенно бесцветным: без верований, без образа мы- сли, без житейской мудрости, с одним богатством живого и теплого чувства. И потому вся поэма — детский лепет, полный поэзии, но скудный значением, лепет, которого вся прелесть в неопределенных, мелодических звуках, а не в смысле этих звуков...

Мы выше сказали, что «Слово о полку Игоревом» резко от- зывается южно-русским происхождением. Есть в языке его что- то мягкое, напоминающее нынешнее малороссийское варечие, особенно изобилие гортанных звуков и окончания на букву *ь* в глаголах настоящего времени третьего лица множественного числа. Но более всего говорит за южно-русское происхождение «Слова» выражающийся в нем быт народа. Есть что-то благо- родное и человеческое во взаимных отношениях действующих лиц этой поэмы: Игорь ждет *милого* брата Всеволода, и речь Всево- лода к Игорю дышит кроткою и нежною родственною любовью без изысканности и приторности: «Один брат ты у меня, один свет светлый, о Игорь, и оба мы Святославичи!» Игорь отсту- пает с полками не по боязни сложить свою голову: ему стало жаль своего *милого* брата Всеволода. В укорах престарелого Свя- тослава сыновьям своим слышится не гнев оскорбленной вла- сти, а ропот оскорбленной любви родительской, — и укор его кроток и нежен; обвиняя детей за удалство, бывшее причиною Игорева плена, он в то же время как бы и гордится их удалством: «О сыны мои, Игорь и Всеволод! Рано вы начали добывать мечами землю половецкую, а себе славы искать. Нечестно ваше одоление, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши из крепкого булата скованы, а в *буести* закалены! Сего ли ожидал я от вас серебряной седине своей!» Но особенно поразительны в поэме благородные отношения полов. Женщина является тут не женою и не хозяйкою только, но и любовницею вместе. Плач Ярославны дышит глубоким чувством, высказы- вается в образах, сколько простодушных, столько и грациозных, благородных и поэтических. Это не жена, которая после погиб- ли мужа осталась горькою сиротою, без угла и без куска, и ко- торая сокрушается, что ее некому больше кормить и бить: это

нежная любовница, которой любящая душа тоскливо порывае- тся к своему милому, к своей *ладе*, чтобы омочить в Каяле-реке бобровый рукав и стереть им кровавые раны на теле возлюблен- ного; которая обращается ко всей природе о своем милом: уко- ряет ветер, несущий ханские стрелы на дружину милого и раз- веявший по ковыль-траве ее веселие; умоляет Днепр — взле- деять до нее ладьи ее милого, чтобы она не слала к нему слез на море рано; взывает к солнцу, которое «всем и тепло и красно» — лишь томит зноем лучей своих воинов ее милого... И зато муж- чина умеет ценить такую женщину: только жажда битвы и сла- вы заставила буйтура Всеволода забыть на время «своея *милая зоти*, красныя Глебовны, свычай и обычай»... Всё это, повто- ряем, отзывается Южною Русью, где и теперь еще так много человеческого и благородного в семейном быте, где отношения по- лов основаны на любви, и женщина пользуется правами своего пола; и всё это диаметрально противоположно Северной Руси, где семейные отношения дико и грубы и женщина есть род до- машней скотины и где любовь совершенно постороннее дело при браках: сравните быт малороссийских мужиков с бытом русских мужиков, мещан, купцов и отчасти и других сословий, и вы убедитесь в справедливости нашего заключения о южном происхождении «Слова о полку Игоревом», а наше рассмотрение русских народных сказок превратит это убеждение в очевид- ность.

Теперь бы нам следовало говорить о «Сказании о нашествии Батя на русскую землю» и о «Сказании о Мамаевом побоище»; но мы скажем о них очень немного. Оба эти памятника нисколь- ко не относятся к поэзии, потому что в них нет ни тени, ни при- зрака поэзии: это скорее памятники даже не красноречия, а простодушной реторике того времени, которой вся хитрость состояла в беспрепятственных применениях к Библии и выписок текстов из нее. Гораздо любопытнее «Слово Даниила Заточника». Оно также не относится к поэзии, но может служить образцом практической философии и ученого красноречия XIV века.¹ Даниил Заточник был муж глубокой учености в духе своего времени; «Слово» отличается умом, ловкостью, а местами и чем- то похожим на красноречие. Главнейшее его достоинство состоит в том, что оно так и дышит духом своего времени. Писано оно в заточении, к князю, у которого наш Заточник надеялся вы- молить себе прощение и свободу. Не теряя из виду главного предмета своего послания, Заточник беспрепятственно пускается в разные суждения. Между прочим, распространяясь о своей нищете, говорит:²

Богат муж везде знаем есть; и в чужой земле друзи имеет, а убог и во своих невидимо ходит. Богат возглаголет, вси возмолчат и слово его воз-

несут до облак; а убог возглаголет, вси на нь кликут и уста ему заградыт; их же риавь светлы, тех и речь честна.

Подлецаясь к князю, он так восхваляет его:

Птица бо радуется веселе, а младенец матери, тако и аз, княже господине, радуясь твоей милости; весна убо украшает цветы землю, а ты, княже господине, оживляеши вся человеки своею милостью, сироты и вдовицы, *от вельмож погружаеши*. Княже господине! Яви ми зрак лица твоего, яко глас твой сладок, и образ твой государев красен, и лице твое светло и благолепно, и разум твой государев яко же прекрасный рай многоплодовит.

Мольбы Заточника к князю возвышаются иногда до истинного красноречия:

Но егда веселишия многими брашны, а мене помяни сух хлеб ядуша; или пиеши сладкое питие, а мене помяни, теплу воду пьюща и праха нападна¹ от места заветрея; егда ляжеша на мягких постелях под собольими одеялы, а мене помяни под единым платом лежаща, и зиму умирающа, и каплями дождевыми яко стрелами сердце пронизающе.

Особенно замечательно следующее место в «Слове» Заточника, где он дает князю совет уважать ум больше богатства и говорит с каким-то наивным самохвальством о самом себе:

Княже, господине мой! Не лиши хлеба нища мудра, ни вознеси до облак богатого безумна, несмыслена: нищ бо мудр, яко влато в калне сосуде, а богат красен несмыслен, то акн паволочитое зголовье, соломы на-ткаво Господине мой! Не зри внешняя моя, но зри виутрекая: аз бо одеян ем ест скуден, но разумом обилен; юн возраст имею, а стар смыслом, бых мыслю яко орел парий по воздуху. Но постави сосуды скудельничьи под поток капля языка моего, да иакаплют тя сладчайши меду словеса уст моих.

Описывая, далее, глупцов, Заточник впадает в истинный сарказм:

Не сей бо на браздах жита, ни мудрости на сердце безумных: безумных бо ви орют, ни сеют, ня в житницы собирают, во сами ся рождает. Как во утел мех воду лити, так безумного учить; псом и свинням не надобно злато и серебро, ви безумному мудрая словеса.² Коли пожрет свища орла, коли камень всплывет по воде, коли свиння почнет ва белку лаяти, тогда безумный уму научится.

Заметно, что Даниил Заточник пострадал от злых наветов со стороны бояр и жены князя; по крайней мере, ничем иным нельзя объяснить следующей грозной филиппики против дурных советчиков и дурных жен:

Княже, мой господине! Не море тонит корабль, но ветри; а не огонь творит разжжение железу, но надыманне мешное: тако же и князь не сам впадает во многие в вещи худые³ но думцы вводят. С добрым бо думцею князь высока стола додумается, а с ляхам думцею думает, и малого

стола лишен будет. Глаголет бо в мирских притчах: не скот в скотех коза, и не зверь во зверех еж, не рыба в рыбах рак, не птица во птицах лето-пырь, а не муж в мужех, кем своя жена владеет; не жена в женах, иже от своего мужа; не работа в работах под жонками воз возити. Дивее дива, кто поймает жену злообразну, прибытка ради...¹ ленше вол ввести в дом свой, ижели злая жена пояти: вол бо не молвит, ни зла мыслит; а злая жена *биема* бесится, а кротима высится, в богатестве гордится, а во убожестве ных осуждает. Что есть жена зла? Гостиница неуспышаемая, купилица бесовская. Что есть жена зла? Мирскы мятежь, ослепление уму, иачалница всякой злобе, во церквя бесовская мытница, лоборица греху, засада спасению.

Не выписываем до конца этой энергической выходки: это только начало, слабейшая часть ее. Вместо ее, выпишем окончание Заточникова послания: оно так в духе своего времени, что из красноречивого становится поэтическим, и потому особенно интересно.

Сии словеса аз Давид писав в заточение на Бело озере, и запечатав в воску, и пустих во озеро, и взем рыба пожре, и яша бысть рыба рыба-рем, и принесена бысть ко князю, и нача ее пороти, и узре князь сие на-п'ани², и повеле Данила свободити от горького заточения. Не огметай безумному прямо безумия его, да ве подобен ему будеша. Уже бо престану глаголати, да не буду яко мех утел, рояя богатство убогим; да не угодлюся жерновом, яко те многие люди насышают, а сами себе не могут насытиса, да не возненавиден буду миру со многою беседеою. Яко же бо птица учащает песни своя, скоро возненавидема бывает. Глаголет бо в мирских притчах: речь продолжна недобро, продолжена поволока. Господи! Дай же князю нашему силу Самсонову, храбрость Александрову, Исифов разум, мудрость Соломову, кротость Давидову, и умножи, господи, вся человеки под руку его. Люте беснующемуся дати иож, а лукавому власть (?). Паче всего ненавижь стороника перетерплива. Аминь.

Кто такой Даниил Заточник и когда он жил — неизвестно. Известия о его заточении находятся в наших летописях под годом 1378. Как бы то ни было, г. Сахаров заслуживает особенную благодарность за перепечатание в своей книге рукописи Даниила Заточника, столь интересной во многих отношениях. Кто бы ни был Даниил Заточник, — можно заключать не без основания, что это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит и сдается ревностно по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы помолчать, и молчат там, где выгодно говорить; словом, одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят и хоят, потом сживают со свету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить...

Теперь нам следует приступить к сказочным поэмам, заключающимся в сборнике казака Кирши Данилова. Там их числом больше тридцати, кроме казачьих, а г. Сахаров поместил из них

в своей книге, в отделе «Былины русских людей», всего-навсё только одиннадцать. Вообще, г. Сахаров обнаруживает к сборнику Кирши Данилова большую недоверчивость и даже что-то вроде неприязни. Это дело требует некоторого пояснения. Рукопись сборника Кирши Данилова была найдена г. Демидовым и издана (не вполне) г. Якубовичем, в 1804 году, под титулом «Древние русские стихотворения». Потом рукопись перешла во владение графа Н. П. Румянцева, по поручению которого и издана была г. Калайдовичем в 1818 году,¹ под титулом: «Древние *российские* стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с присовокуплением² 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева». В предисловии своем г. Калайдович говорит:³

Сочинитель, или, вернее, собиратель древних стихотворений, ибо многие принадлежат временам отдаленным, был некто *Кирша*, без сомнения, по малороссийскому выговору Кирилл, так как *Павша* — Павел; Данилов, вероятно, козак, ибо он изредка воспевает подвиги храброго сего войска с особенным восторгом. Имя его было поставлено на первом, теперь уже потерянном листе древних стихотворений. За справедливость сего ручается г. Якубович. В 36 вписе, «Да не жаль добра молодца битого, жаль похмельного», где он сам себя именует «Кириллом Даниловичем», посвящая сие произведение вну и дружбе.⁴ Место его рождения или пребывания означать трудно, ибо в вписе «Три года Добрынюшка столничал», на стр. 67,⁵ говорит сочинитель:

А не было Добрыне шесть месяцев.
По-нашему, по-сибирскому, словот полгода.

Посему не без вероятия заключить можем, что некоторые из стихотворений сочинены в Сибири. В статье «Василий Буславев», на стр. 73:

А и вет у нас такого певца
Во славном Новгороде
Супротив Василья Буслаева.

И, наконец, в «Чурилье игуменье», на стр. 383, представляет себя жителем киевским:

Да много было в Кieve божьих церквей,
А больше того почестных монастырей;
А не было чуднее Благовещения Христова.
А у нашего Христова Благовещенья честнова,
А был-де у нас Иван-пономарь.

Собиратель древних стихотворений должен принадлежать к первым десятилетиям XVIII века

Г-н Сахаров спрашивает: «На чем основано, что собирателем древних стихотворений был Кирша Данилов? На том, что имя его поставлено на первом листу рукописи. Где этот лист? Калайдович говорит, что он потерялся. Кто видел лист с подписью? Один только издатель Якубович, который, по словам Калайдовича, ручается за справедливость этого известия?»

Коротко и ясно: изо всего этого г. Сахаров хочет вывести следствие, что Кирша Данилов отнюдь не был собирателем древних стихотворений. Прекрасно: но в чем спор и есть ли о

70

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

*Манускрипт рукописи и рукописи по духу
своим, но одна поэзия, как основанная в духе
своих, в рукописи и рукописи в рукописи в
рукописи и рукописи в рукописи.*

Автограф 3-й страницы третьей статьи «Древние российские стихотворения...»

чем тут спорить? Кирша Данилов — хорошо; не он, а другой, г. А., г. Б., г. В.— также хорошо: по крайней мере, в обоих случаях стихотворения не делаются ни лучше, ни хуже. Впрочем, все причины стоят за Киршу Данилова, и ни одной против него; это ясно как день божий. Во-первых, нужно же какое-нибудь общее имя для означения сборника древних стихотворений: зачем же выдумывать новое, когда уже глаза всей читающей публики пригляделись в печати к имени Кирши Данилова? Во-вторых, что имя его могло стоять на главном листке — это вернее, чем то, что его не было на нем, ибо это имя упоминается в тексте целой песни, сочиненной самим собирателем. Вот она:

А и не жаль мне-ко битого, грабленого,
А и того ли Иваиа Сутырвиа,
Только жаль доброго молодца похмельного,
А того ли Кирилу Даниловича.
У похмельного доброго молодца буйна голова болит:
А вы, милы мои братцы, товарищи, друзья!—
Вы купите вина, опохмелите молодца—
Хотя горько да жидко — давай еще;
Замените мою смерть животом своим:
Еще не в кое время пригожусь я вам.

Разумеется, смешно и нелепо было бы почитать Киршу Данилова сочинителем древних стихотворений: но кто же говорил, или утверждал это? Все эти стихотворения неоспоримо древние. Начались они, вероятно, во времена татарщины, если не раньше: по крайней мере, все богатыри Владимира Красна солнышка беспрестанно сражаются в них с татарами. Потом каждый век и каждый певун или сказочник изменял их по-своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переименовая старье. Но сильнейшему изменению они подверглись, вероятно, во времена единодержавия в России. И потому отнюдь не удивительно, что удалой казак Кирша Данилов, гуляка праздный,¹ не оставил их совершенно в том виде, как услышал от других. И он имел на это полное право: он был поэт в душе, что достаточно доказывалась его страстию к поэзии и терпением положить на бумагу 60 больших стихотворений. Некоторые из них могут принадлежать и самому ему, как выше выписанная нами песня: «А и не жаль мне-ко битого, грабленого».² На Руси исстари заведено, что умный человек непременно горький пьяница: так или почти так справедливо заметил где-то Гоголь.³ В следующей песне, отличающейся глубоким и размашистым чувством тоски и грустной иронии, Кирша Данилов является истинным поэтом русским, какой только возможен был на Руси до века Екатерины Великой:

А п горе, горе, гореваньце!
 А и в горе жить — не кручинну быть,
 Нагому ходить — не стыдиться,
 А и денег нету — перед деньгами,
 Появилась гривна — перед злыми дии.
 Не бывать плешатому кудрявому,
 Не бывать гуляшему богатому,
 Не отростять дерева суховерхого,
 Не откормить коня сухопарого,
 Не утешти дятя без матеря,
 Не скронть атласу без мастера.
 А горе, горе, гореваньце!
 А и лыком горе подпоясалось,
 Мочалами ноги изопутаны!
 А я от горя в темны леса —
 А горе прежде век зашел;
 А я от горя в почестный пир —
 А горе зашел, впереди сидит;
 А я от горя ва царев кабак —
 А горе встречает, уж пиво тащит.
 Как я наг-то стал, насмеялся ой.

Кирша Данилов жил в Сибири, как это видно из частых выражений: «а по-нашему, по-сибирскому» и из некоторых поэм, посвященных памяти подвигов завоевателя Сибири, Ермака. Очень вероятно, что в Сибири Кирша имел больше, чем где-нибудь, возможность собрать древние стихотворения: обыкновенно колонисты с особенною любовью и особенным старанием хранят памятники своей первобытной родины. Вообще, в Сибири и теперь еще сохранился во всей чистоте первобытный духовный тип старой Руси.

«Древние стихотворения», заключающиеся в сборнике Кирши Данилова, большею частью эпического содержания в сказочном роде. Есть большая разница между поэмою или рапсодом и между сказкою. В поэме поэт как бы уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему благоговение; в сказке поэт — себе на уме: цель его — занять праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других. Отсюда происходит большая разница в тоне того и другого рода произведений: в первом важность, увлечение, иногда возвышающееся до пафоса, отсутствие иронии, а тем более — пошлых шуток; в основании второго всегда заметна задняя мысль, заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренно смеется над собственным рассказом. Это особенно относится к русским сказкам. Кроме «Слова о полку Игоревом», из народных произведений у нас нет ни одной поэмы, которая не носила

бы на себе сказочного характера. Русский человек любит небывиды как забаву в праздные минуты долгих зимних вечеров, но не подзревает в них поэзии. Ему странно и дико было бы узнать, что *ученые бары* списывают и печатают его рассказы и побасенки не для шутки и смеху, а как что-то важное. Он отдает преимущество песне перед сказкою, говоря, что «песня — быль, а сказка — ложь». У него нет никакого предчувствия о близком родстве *вымысла с творчеством*: вымысел для него всё равно, что ложь, что вздор, что чепуха. А между тем «древние стихотворения» не сказки собственно, но, как мы сказали, *поэмы в сказочном роде*. Может быть, первоначально они явились чисто эпическими отрывками, а потом уже, изменяясь со временем, получили свой сказочный характер; а может быть, вследствие варварского понятия о вымысле, и с самого начала явились поэмами-сказками, в которых поэтический элемент был осилён прозою народного взгляда на поэзию. В книжке г. Сахарова «Русские народные сказки» есть несколько сказок почти одинакового содержания и почти так же изложенных, как и некоторые «Былины русских людей», помещенные им в большой своей книге «Сказания русского народа». Разница в том, что в *сказках* есть некоторые лишние против *былин* подробности, и в том, что первые напечатаны прозою, а вторые стихами. И мы думаем, что г. Сахаров сделал это не без основания: ¹ хотя и все наши сказки сложены какою-то мерною прозою, но этот метризм, если можно так выразиться, составляет в них побочное достоинство и часто нарушается местами, тогда как в поэмах метр, хотя и силлабический, и притом не всегда правильный, составляет их необходимую принадлежность. Сверх того, есть некоторая разница и в манере, в замашке рассказа между сказкою и поэмою: первая объемлет собою всю жизнь богатыря, начинается его рождением, а оканчивается смертию; поэма, напротив, схватывает один какой-нибудь момент из жизни богатыря и силится создать из него нечто отдельное и цельное. И потому одна сказка заключает в себе два, три и более эпических рапсодов, как, например, о Добрыне и об Илье Муромце. В тоне сказок больше простонародного, житейского, прозаического; в тоне поэм больше поэзии, полету, одушевления, — хотя те и другие рассказывают часто об одном и том же предмете и очень сходным манером, нередко одними и теми же выражениями. Так как русский человек смотрел на сказку, как на «пересыпанье из пустого в порожнее», то он не только не гонялся за правдоподобием и естественностию, но еще как будто поставлял себе за непремennую обязанность умышленно нарушать и искажать их до бессмыслицы. По его понятию, чем сказка неправдоподобнее и нелепее, тем лучше и занимательнее она. Это перешло и в поэмы, которые преисполнены самыми резкими несообразностями. Это мы сейчас дадим увидеть самим читателем

лям нашим,— для чего и перескажем им вкратце содержание всех поэм, находящихся в сборнике Кирши Данилова.

Нам удавалось слышать до крайности странное мнение, будто из наших сказочных поэм можно составить одну большую и целую поэму, подобно тому, как будто бы из рапсодов была составлена «Илиада». ¹ Теперь уже и о происхождении «Илиады» оставлено такое мнение, как неосновательное. Что же до наших рапсодов, то мысль склеить их в одну поэму есть злая насмешка над ними. Поэма требует единства мысли, а вследствие ее — гармонии в частях и целости в общем. Из изложения содержания наших рапсодов мы увидим, что искать в них общей мысли — всё равно, что ловить жемчужные раковины в реке Фонтанке. Они ничем не связаны между собою; содержание всех их одинаково, обильно словами, скудно делом, чуждо мысли. Поэзия к прозе содержится в них, как ложка меду к бочке дегтю. В них нет никакой последовательности, даже внешней; каждая из них — сама по себе, ни вытекает из предыдущей, ни заключает в себе начала последующей. Внешнее единство «Илиады» основано на гневе Ахиллеса на Агамемнона за пленницу Бризеиду; Ахиллес отказывается от боя, и, вследствие этого, эллины претерпевают страшные поражения от троян, и погибает Патрокл; тогда Ахилл мирится с Агамемноном, поражает торжествовавших троян и убийством Гектора выполняет свою клятву мщения за смерть Патрокла. И потому в «Илиаде» вторая песня следует за первой, а третья за второю, и так далее, от первой до 24-й включительно, не по цифрам, в начале их произвольно поставленным собирателями, а по внутреннему развитию хода событий. В наших же рапсодах нет общего события, нет одного героя. Хотя и наберется поэм двадцать, в которых упоминается имя великого князя Владимира Красна солнышка, но он является в них внешним только героем: сам не действует ни в одной, и везде только пирует да похаживает по гриднице светлой, расчесывая кудри черные. Что же касается до связи этих поэм, то некоторые из них точно должны бы следовать в книге одна за другою, чего, к сожалению, не сделал Калайдович, напечатавший их, вероятно, в таком порядке, в каком они находились в рукописи Кирши Данилова. Но это относится очень к немногим, так что не более трех могут составить одно, — и это одно всегда имеет своего героя, помимо Владимира, о котором во всех равно упоминается. Герои эти — богатыри, составлявшие двор Владимира. Они со всех сторон стекаются к нему на службу. Это очевидно отголоск старины, отражение давней были, в которой есть своя доля истины. Владимир не является в этих поэмах ни лицом действительным, ни характером определенным, а, напротив, какую-то мифическою полутенью, каким-то сказочным полубразом, более именем, чем человеком. Так-то поэзия

всегда верна истории: чего не сохранила история, того не передаст и поэзия; а история не сохранила нам образа Владимира-язычника, поэзия же не дерзнула коснуться Владимира-христианина. Некоторые из богатырей Владимира переданы нам этою сказочною поэзиею, как-то: *Алѣша Попович* с другом своим *Екимом Ивановичем*, *Дунай сын Иванович*, *Чурило Пленкович*, *Иван Гостиный сын*, *Добрыня Никитич*, *Поток Михайло Иванович*, *Илья Муромец*, *Михайло Казаринов*, *Дюк Степанович*, *Иван Годинович*, *Гордей Блудович*, жена *Ставра боярина*, *Касьян Михайлович*; некоторые только упоминаются по имени, как-то: *Самсон Колыванович*, *Сухан Домантьевич*, «*Светогор богатырь и Полкан другой*», *Семь братьев Збродовичей* и два брата *Хапилковы*... Но пусть само дело говорит за себя. Начнем с *Алѣши Поповича*.

Из славного Ростова, красна города, вылетывали два ясные сокола, выезжали два могучие богатыря,

Что по имени Алѣшинька Попович млад
А со молодым Екимом Ивановичем.

Наехали они в чистом поле на три дороги широкие, а при тех дорогах лежит горюч камень с надписями; Алѣша Попович просит Екима Ивановича, «как в грамоте поученого человека», прочесть те надписи. Одна из них означала путь в Муром, другая в Чернигов, третья — «ко городу Киеву, ко *ласкову* князю Владимиру». Еким Иванович спрашивает, куда ехать; Алѣша Попович решает — к Киеву. Не доехавши до *Сафат*-реки (?), остановились на зеленых лугах покормить добрых коней. Здесь мы остановимся с ними, чтобы спросить, что это была за река *Сафат*, протекавшая между Ростовом и Киевом? Вероятно, она заплыла туда из Палестины... Разбивши шатры, стреноживши коней, добры молодцы стали «опочив держать».

Прошла та ночь осенняя,
Ото сна пробуждается,
Встает рано раешенько,
Утреннюю зарю умывается,
Белою шпринкою утирается,
На восток он Алѣша богу молится.

Еким Иванович поймал коней, напоил их в *Сафат*-реке и, по приказанию *Алѣши*, оседлал их. Лишь только хотели они ехать «ко городу Киеву», как попадается им *калика перезожий*.

Лапотки на нем семи шелков,
Подковырены чистым серебром,
Личико унизано красным золотом,
Шуба соболиная, долгополая,
Шляпа сорочинская, земли греческой,
В тридцать пуд шелепуга подорожная,
В пятьдесят пуд налита свинцу чебурадного.

Вопрос: как же шелепуга могла быть в *тридцать* пуд, если одного свинцу в ней *было пятьдесят* пуд?.. Калика говорил им таково слово:

«Гой вы еси, удалы добры молодцы!
Видел я Тугарина Змеевича:
В вышину ли он, Тугарин, трех сажень,
Промеж плечей косая сажень,
Промежду глаз калена стрела;
Конь под ним, как лютый зверь,
Из хайлища пламень льшет,
Из ушей дым столбом стоит».

Алёша Попович *привязался* к калике, отдает ему свое платье богатырское, а у него просит себе каличьего, — и его просьба состоит в повторении слово в слово выше выписанных нами стихов, изображающих одеяние и оружие калики. Калика соглашается, и Алёша Попович, кроме шелепуги, берет еще про запас чингалище булатное и идет за Сафат-реку:

Завидел тут Тугарин Змеевич млад,
Заревел зычным голосом,
Продрогнула дубровушка зеленая,
Алёша Попович едва жив идет.
Говорил тут Тугарин Змеевич млад:
«Гой еси, калика перехожея!
А где ты слышал к где видал
Про млада Алёшу Поповича:
А и я бы Алёшу копьем заколол,
Копьем заколол и огнем спалил».
Говорил тут Алёша каликою:
«А и ты ой еси, Тугарин Змеевич млад!
Поезжай поближе ко мне,
Не слышу я, что ты говоришь».
Подъезжал к нему Тугарин Змеевич млад,
Сверстался Алёша Попович млад
Против Тугарина Змеевича,
Хлестнул его шелепугою по буйной голове,

Расшиб ему буйну голову —
И упал Тугарин на сыру землю;
Вскочил ему Алёша на черну грудь.
Втапоры замолкнет Тугарин Змеевич млад:
«Гой еси ты, калика перехожея!
Не ты ли Алёша Попович млад?
Только ты Алёша Попович млад,
Сем побратуемся с тобою».
Втапоры Алёша врагу не веровал,
Отрезал ему голову прочь,
Платье с него синмал цветное
На сто тысячей — и всё платье на себя надевал.

Увидев Алёшу Поповича в платье Тугарина Змеевича, Еким Иванович и калика перехожея пустились от него бежать; когда ж он их нагнал, Еким Иванович бросил себе назад палицу в тридцать пуд, попал Алёше в грудь — и тот повалился с коня за смертью.

Втапоры Еким Иванович
Скочил со добра коня, сел на груди ему:
Хочет пороть груди белые —
И увидел на нем золот чуден крест,
Сам заплакал, говорил калике перехожему:
«По грехам яадо мною Екимом учинилося,
Что убих своего брата родимого».
И стали его оба трясти и качать,
И потом подалк ему вина заморского;
От того он здрав стал.

Алёша Попович обменялся с каликою платьем, а Тугариново положил себе в *чемодан*. Приехали в Киев,

Скочили с добрых коней,
Привязали к дубовым столбам,
Пошли во светлы гряди;
Молятся Спасову образу
И бьют челом, поклоняются
Князю Владимиру и княгине *Апраксеине*,
И на все четыре стороны;
Говорил им ласковый Владимир-князь:
«Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитесь, как вас по имени зовут:
А по имени вам мочно место дать,
По изотчеству можно пожаловать».
Говорил тут Алёша Попович млад:
«Меня, осударь, зовут Алёшею Поповичем,

Из города Ростова, старого попа **соборного**,
 Втапоры Владимир-князь обрадовался,
 Говорил таковы слова:
 «Гой еси, Алёша Попович млад!
 По отечеству садися в большое место, в **передний** уголок,
 В другое место богатырское,
 В дубову скамью против меня,
 В третье место, куда сам захочешь».
 Не садился Алёша в место большое
 И не садился в дубову скамью,
 Сел он со своими товарищи на полатный брус (!???)¹

Вдруг — о чудо! — на золотой доске двенадцать богатырей
 несут Тугарина Змеевича — того самого, которому так недавно
 Алёша отрубил голову, — несут живого и сажают на *большое*
место.

Тут повары были догадливы:
 Понесли яства сахарные и питья медвяные,
 А питья все заморские,
 Стали тут пить, есть, прохлаждаться;
 А Тугарин Змеевич нечестно хлеба ест:
 По целой ковриге за щеку мечет,
 Те ковриги монастырские;
 И нечестно Тугарин питья пьет:
 По целой чаше охлестывает,
 Котора чаша в полтретья ведра.
 И говорил втапоры Алёша Попович млад:
 «Гой еси ты, ласковый сударь, Владимир-князь!
 Что у тебя за болван пришел,
 Что за дурак неотесаной?
 Нечестно у князя за столом сидит,
 Ко княгине он, собака, руки в пазуху кладет,
 Целует во уста сахарные,
 Тебе князю насмежается».

Далее Алёша говорит, что у его отца была скверная ² собака,
 которая подавилась костью и которую он, взявши за хвост,
 под гору махнул: «От меня Тугарину то же будет».

Тугарин почернел, как осенняя ночь,
 Алёша Попович стал, как светел месяц.

Начавши рушить лебедь белую, княгиня **обрезала** себе ру-
 чейку левую,

Завернула рукавцом, под стол опустила,
 Говорила таково слово:

«Гой вы еси, княгиня, боярыни!
 Либо мне резать лебедь белую,
 Либо смотреть на мил живот,
 На молода Тугарина Змеевича».

Тугарин схватил лебедь белую, да разом ее за щеку, да еще
 ковригу монастырскую. Алёша опять повторяет свое воззвание
 к Владимиру теми же словами; только, вместо собаки, говорит
 о коровице старой, которая, забившись в поварню, выпила чан
браги пресной и от того лопнула и которую он, Алёша, за хвост
 да под гору: «От меня Тугарину то же будет». Потемневши, как
 осенняя ночь, Тугарин бросил в Алёшу чингалищем булатным,
 но Попович «на то-то верток был», и Тугарин не попал в него
 Еким спрашивает Алёшу: сам ли он бросит в Тугарина, али
 ему велит? Алёша сказал, что он завтра сам с ним переведается,
 под великий заклад — не о сте рублях, не о тысяче, а о своей
 буйной голове. Князя и бояры скочили на резвы ноги, а все за
 Тугарина поруки держат: князя кладут по сту рублей, бояра
 по пятидесяти, *крестьяне* (?) по пяти рублей, а случившиеся тут
 гости купеческие подписывают под Тугарина три корабля свои
 с товарами заморскими, которые стоят на быстром Днепре; а за
 Алёшу подписывал владыка черниговский.

Втапоры Тугарин и вон ушел,
 Садился на своего добра коня,
 Поднялся на бумажных крыльях под небесью летать.
 Скочила княгиня Апраксеевна на резвы ноги,
 Стала пенять Алёше Поповичу:
 «Деревенщина ты, засельщина!
 Не дал посидеть другу милому».
 Втапоры Алёша того не слушался,
 Звился со товарищи и вон пошел.

На берегу Сафат-реки пустили они коней в зеленые луга, раз-
 били шатры и стали «опочив держать». Алёша всю ночь не спит,
 со слезами богу молится, чтоб послал тучу грозную; молитва
 Алёшина дошла до Христа, послал он «тучу с градом дождя»,
 подмочило Тугарину крылья бумажные, и лежит он, как со-
 бака, на сырой земле. Еким извещает Алёшу, что видел Туга-
 рина на сырой земле, — Алёша снаряжается, садится на добра
 коня, берет сабельку острую.

И увидел Тугарин Змеевич Алёшу Поповича,
 Заревел зычным голосом:
 «Гой еси, Алёша Попович млад!
 Хошь ли я тебя огнем спалю,
 Хошь ли, Алёша, коием стопчу,
 Али тебя, Алёшу, коием заколю!»

Говорил ему Алёша Попович млад:
 «Гой ты еси, Тугарин Змеевич млад!
 Вился ты со мною о велик заклад,
 Виться, драться един на един:
 А за тобою поне силы сметы нет
 На меня Алёшу Поповича».
 Оглянется Тугарин назад себя,
 Втапоры Алёша подскочил, ему голову срубил —
 И пала глава на сыру землю, как живной котел.

Проколовши уши голове Тугарина, Алёша привязал ее к седлу, привез в Киев в княженицкий двор и бросил среди двора. А Владимир-князь повел его во светлы гридни, сажал за убранны столы — тут для Алёши и стол пошел. За столом говорил ему Владимир-князь:

«Гой еси, Алёша Попович млад!
 Час ты мне свет дал;
 Пожалуй ты живи в Кневе,
 Служи мне, князю Владимиру, —
 До любви тебя пожалую».
 Втапоры Алёша Попович млад князя не послушался —
 Стал служить верою и правдою;
 А княгиня говорила Алёше Поповичу:
 «Деревищана ты, засельщана!
 Разлучил меня с другом милым,
 С молодым Змеем Тугаретным».
 Отвечает Алёша Попович млад:
 «А ты гой еси, матушка княгиня **Апраксеевна!**
 Чуть не назвал я тебя сукою,
 Сукою-то, волочайкою».
 То старина, то и деянье!

И вот, читатели, вы уже знакомы с одним из богатырей *ласкова князя Владимира Красна солнышка*; вы уже знаете, за какую службу и с какими обрядами Алёша был принят ко двору его. Тут не было посвящения; не ударяли по плечу шпагою, не надевали серебряных шпор; битва была не за красоту, а против красоты, и красоты вельми неграциозной и в словах, и в манерах, и в характере. Не ищите тут мифов с общечеловеческим содержанием; не ищите художественных красот поэзии; но в этих странных и оригинальных оборотах всё-таки есть поэтические элементы, если не поэзия; в этих диких и неопределенных образах народной фантазии всё-таки есть смысл и значение, если нет мысли даже, если хотите, есть мысль только частная, а не общая, народу, а не человечеству принадлежащая; и — повторям — несмотря на дубоватую неграциозность образов, вы-

ражение, чуждое мысли, очень и очень не чуждо поэзии. Что же касается до героя, он является с характером. Попович — это богатырь больше хитрый, чем храбрый, больше находчивый, чем сильный. Он идет на битву с Тугариным переодевшись, под чужим видом; завидя врага, он *едва жив идет* (разумеется, от трусости); на возглас Тугарина прикидывается глухим, — и когда тот подходит к нему ближе, чтобы говорить с ним, а не сражаться, он вдруг хватает его по голове шелепуюго в тридцать пуд; Тугарин предлагает ему побрататься, но не на таковского напал: Алёша не дастся в обман по великодушию рыцарскому — «втапоры Алёша врагу не веровал». Готовясь ко второй битве, он, в смиренном сознании своих богатырских сил, молится о дожде, чтобы подмочило у Змея бумажные крылья, — и когда тот полетел на него, он опять прибегает к обману: «ты, — говорит он ему, — держал заклад биться со мною един на един, а за тобою сила несметная против меня»; Змей оглядывается назад, и Алёша в эту минуту рубит ему голову. Еким Иванович — добрый и честный богатырь; но он служит Алёше, без его спросу ничего не делает. Это — меньшей названный брат его; это добродушная, честная сила, добровольно покорившаяся хитрому уму. Тугарин — хвастун, нахал, невежа; он при всех весьма не по-рыцарски, вельми неграциозно любезничает с Апраксеевною; он у князя, как у себя дома: ковригами глотает, ушатами заливает, как бы для показания полного своего презрения к обиженному супругу, как бы для того, чтобы при всех наругаться над ним. Это идеал русского любовника чужой жены, которому мало наслаждения — нужно еще и ругаться и ломаться над несчастным мужем... Мы еще не раз встретимся с этим лицом, состоящим на ролях *любовников* в репертуаре народного театра жизни; он еще явится нам и под другим именем, но всегда змеем. В его безобразном и безобразном лице православный народ осуществил свое сознание о любви, — и если этот русский Дон Хуан или этот Ромео не совсем-то благообразен, — причина тому — народное созерцание чувства любви. И потому просим не взыскать — чем богаты, тем и рады. Любовь до того изгнана у нас из тесного круга народного созерцания жизни, что в самом браке является каким-то чуждым, греховным элементом, враждебным святости союза, освящаемого религиею; вне же брака, она — бесовская прелесть, дьявольское наваждение, нечистое вожделение Змея Горыныча, преступная контрабанда жизни. Удивительно ли после этого, что эта любовь является в наших народных поэмах так простонародно-неэстетическою, так цинически чувственною, так оскорбительною и возмутительною для чувства, в таких грубых кабацких формах? Удивительно ли после этого, что любовник в наших народных поэмах является в виде змея, с характером хвастуна, наглеца, ярыги и труса, а

любовница является в виде грубой, наглой и бесстыдной бабы, с манерами и замашками харчевницы и площадной торговки, и даже, — как увидим это ниже, — в виде колдуньи, злой еретницы?.. И самый разврат может иметь свою поэзию и свою грацию, если он выходит из пламенного клокотания необузданной страсти, из неукротимого стремления к наслаждению; но в наших «любовницах» не заметно ни тени поэзии или грации. Здесь опять та же причина: любовь, по нашему народному созерцанию, не есть чувство, не есть страсть, а какой-то холодный циничский разврат. В княгине Апраксеевне олицетворен идеал любовницы, — идеал, которого полное осуществление мы увидим в Марине, неприятельнице Добрыни Никитича и любовнице Змея Горыныча. ¹ Странно только, каким образом народная фантазия, выразившая в Апраксеевне народный идеал эманципированной женщины (*femme émancipée*), навязала ее в жены любимцу предания, солнцу своей древней жизни и поэзии — князю Владимиру. Нет сомнения, что Владимир *мифический*, Владимир, окруженный богатырями, женившийся от живой жены, есть Владимир-язычник: народная поэзия не смела коснуться Владимира Равноапостольного, Владимира *исторического*, и потому не передала нам ни его похода в Корсунь, ни отношений к Византии, ни последовавшего за тем времени его царствования, переданного историей и церковью. Если же в этих поэмах нет ни языческих имен действующих лиц, ни языческих богов, а, напротив, часто упоминается о церквах, об образах, о венчании, — то это анахронизм, вроде того, что Владимировы богатыри, как мы увидим это ниже, беспрестанно сражаются с татарскими ханами, мурзами и улановьями и беспрестанно ездят в Золотую Орду. Это служит новым доказательством нашей мысли, что эти поэмы или сложены были во время татарщины, если не после ее, а от старины воспользовались только мифическими, смутными преданиями и именами, — или что они были переиначены и переделаны во время или после татарщины.

Мы еще два раза встретимся с Алёшею Поповичем, и увидим, что, даже и являясь вскользь, он не изменяет своего характера — Поповича; теперь же перейдем к другому богатырю, женившему князя Владимира.

В стольном городе во Кieve,
 Что у ласкова, сударь, князя **Владимира**,
 А н было пированье, почестный пир,
 Было столованье, почестный стол,
 Много на пиру было князей н бояр
 И русских могучих богатырей;
 А н будет день в половину дня,
 Княжецкий стол во полу столе;

Владмир-князь распотешился,
 По светлой гридне похаживает,
 Черные кудри расчесывает,
 Говорит он, сударь, ласковой
 Владимир-князь таково слово:
 «Гой еси вы, князи я бояра н могучие богатыри!
 Все вы в Кieve переженены,
 Только я, Владимир-князь, холост хожу,
 А н холост я хожу, не женат гуляю:
 А кто мие-ка знает супротивницу,
 Супротивницу знает красну девицу:
 Как бы та девица станом статна,
 Станом бы статна н умом свершна,
 Ее белое лицо, как бы белый снег,
 И ягодицы, как бы маков цвет,
 А н черные брови, как бы соболи,
 А н ясные очи, как бы у сокола».

Тут большой за меньшого хоронится, а от меньшого ответа князю нет; тогда выступает из стола *Иван Гостиный сын* и кричит зычным голосом, прося слово молвити, слово единое, *безопальное*: «Я ли-де Иван в Золотой Орде бывал у грозного короля Етмануйла Етмануйловича и видел его двух дочерей: первая дочь Настасья королевшна, а другая Афросинья королевшна; сидит Афросинья в высоком терему, за тридесять замками булатными; а и буйные ветры не вихнут на ее, а красное солнце не печет лицо: а то-то, сударь, девушка станом статна, станом статна и умом свершна (следует повторение четырех последних стихов из речи князя Владимира); посылай ты, сударь, Дуная свататься». Князь приказал налить чашу зелена вина в полтора ведра и подносить ее Ивану Гостиному за те слова его хорошие. Призвал он, князь, Дуная Ивановича в спальню к себе и послал его на доброе дело, на сватанье, и давал ему золотой казны, триста жеребцов и могучих богатырей; подносил он ему, Дунаю, чару зелена вина в полтора ведра, турий рог меду сладкого в полтретья ведра, разгоралася утроба богатырская и могучие плечи расходились, как у молода Дуная Ивановича; не берет он золотой казны, не надо ему триста жеребцов и могучих богатырей, а просит он себе одного молодца, как бы молода Екима Ивановича, который служит Алёшке Поповичу. А и князь тотчас сам Екима руками привел: «Вот-де те, Дунаю, будет паробочек». И приехали добры молодцы, Дунай да Еким, в Золоту Орду, к тому ли грозному королю Етмануйлу Етмануйловичу. Говорит тут Дунай таково слово:

«Гой еси, король в Золотой Орде!
 У тебя ли во палатах белокаменных

Нету Спасова образа,
 Некому у тебя помолиться,
 А и не за что тебе поклониться».

Говорит тут король Золотой Орды,
 А и сам он король усмехается:
 «Гой еси, Дунай сын Иванович!
 Али ты ко мне приехал по старому служить
 и попржнему?»

Дунай объявляет королю о цели своего приезда. А и тут королю за беду стало, а рвет на главе кудри черные и бросает о *кирпичет* пол и говорит, как бы не его, Дуная, прежняя служба, велел бы посадить его в погреба глубокие и уморил бы смертью голодною за те его слова за бездельные. Тут Дунаю за беду стало, разгоралось его сердце богатырское, вынимал он сабельку острую и говорил таковы слова: «Как бы-де у тебя во дому не бывал, хлеба-соли не едал, ссек бы по плеч буйну голову». Тут король *неладом* заревел зычным голосом, псы борзы заходили на цепях, а и хочет Дуная живьем стравить теми кобелями *меделянскими*. Дунай закричал к Екиму, а те мурзы, улановья не допустят Екима до добра коня, до его палицы тяжкая, *медная*, в три тысячи пуд; не попала ему палица *железная*, что попала ему ось-то тележная, а и зачал Еким помахивати, и побил он силы семь тысячей, да пятьсот кобелей меделянских. Король на всё соглашался, и Дунай унимал своего слугу верно-го, и пошел к высокому терему, где сидит Афросивья, — двери у палат были железные, а крюки, пробой по булату злачены. «Хоть нога изломить, а двери выставить». Все тут палаты запалатысь, бросится девица, испужалася, хочет Дуная в уста целоваться. Проговорит Дунай сын Иванович: «А и ряженный кус, да не суженому есть! Достанешься ты князю Владимиру». И хотят они ехать; спохватился тут король Золотой Орды, отрядил триста свои мурзы и улановья на тридцати телегах везти за Дунаем золото, серебро, жемчуг скатный и камня самоцветные. Не доехавши до Киева за сто верст, наехал Дунай на бродучий след, велел Екиму везти невесту ко Владимиру «честно, хваально и радостно», а сам поехал по тому следу свежему, бродучему. В четвертые сутки наехал он на тех на лугах на потешных, — куда ездил ласковый Владимир-князь всегда за охотою, — на бел шатер, а во том шатре опочив держит красна девица, а и та ли Настасья королевешна.* Молодой Дунай он догадлив был: пустил он из лука калену стрелу семи четвертей —

Хлествет он, Дунай, по сыру дубу,
 А спела ведь тетивка у туга лука,

* Сестра Афросивьи, невесты Владимира. Как она туда зашла — не спрашивайте: ведь песня — быль, а сказка — ложь ..

А дрогнет матушка сыра земля
 От того удару богатырского, —
 Угодила стрела в сыр крековный дуб,
 Изломала его в черенья ножовые.
 Бросялася девица из бела шатра будто *угорелая*,
 А и молодой Дунай он догадлив был,
 Скочил он, Дунай, с добра коня,¹
 И горазд он с девицею драться,
 Ударил он девицу по щеке,
 А пнул он девицу под... —
 Женской пол от того пухол живет,
 Сшиб он девицу с резвых ног,
 Он выдернул чингалише булатное,
 А и хочет взрезать груди белые;
 Втапоры девица взмолилася:
 «Гой еси ты, удалой добрый молодец!
 Не коли ты меня девицу до смерти,
 Я у батюшки, сударя, отпросалася,
 Кто меня побьет во чистом поле,
 За того мне девице замуж идти».

А и туто Дунай тому ее слову обрадовался, думает он разумом своим: «Во семи ордах я служил семи королям, а не мог себе выжить красныя девицы; ноне я нашел во чистом поле обрушницу, сопротивницу». Тут они обручались, *вкруг ракитова куста венчались*. Приехали они во град Киев, а Владимир-князь от злата венца шел на свой княженецкий двор, и во светлы гридни убирался, за убранные столы сажался. А и Дунай приходил во церковь соборную просить честныя милости у того архiereя соборного обвенчать на той красной девице. Рады были тому попы соборные — *в те годы присяги не ведали* — обвенчали Дуная Ивановича; венчального дал Дунай пятьсот рублей. Приехав ко двору князя Владимира, Дунай велел доложить ему, что не в чем идти княгине молодой — платья женского только одна и есть епанечка белая. А втапоры Владимир-князь он догадлив был, *знает он кого послать*: послал он Чурила Пленковича выдавать платице женское цветное. (После этого пошло столованье). А жили они время не малое. На пиру у князя Владимира пьяный Дунай расхвастался, что нет в Киеве стрельца супротив его. Тут взговорит молода княгиня *Апраксеевна* (?), что нету-де в Киеве такого стрельца, как любезной сестрицы ее Настасьи королевешны. Тут Дунаю за беду стало, бросил с женою жеребий, кому прежде стрелять. Досталось Дунаю на голове кольцо держать, отмерили версту тысячну, Настасья каленой стрелой сшибла с головы золото кольцо. Втапоры Дунай становил на примету свою молодую жену, и стала княгиня

мудрости этой киргиз-кайсацкой пословицы и потому других бьет — не кается, и самого побьют — не гонится. Притом же если бы Настасья одолела Дуная, — она не задумалась бы вспороть ему груди белые чигналищем булатным. В Настасье королевичне осуществлен идеал амазонки по понятию русского человека. Жена богатыря должна рожать богатырей, а для этого сама должна быть богатырем своего пола. Поэтому Настасья и мастерица такая из лука стрелять, что за версту сшибла кольцо с головы мужа. Отношения полов, по народному сознанию, всего лучше выражаются в смерти Настасьи. Все богатыри хвастливы, особенно русские; все богатыри любят поднять, особенно русские: потому не удивителен вызов Дуная состязаться с женою в стрельбе. Просьбы других, слезы жены только более подстрекают его богатырскую рьяность и раздражают упорный характер. Убив жену, он спешит вспороть ей белые груди: ни слезы, ни вздоха для нее; но при виде сына, которому он не дал свою опрометчивостью созреть настоящим образом, в нем пробуждается отеческое, а следовательно, и человеческое чувство. Печаль его переходит в отчаяние, разрешающееся самоубийством. Обстоятельство, по которому приписывается быстрому Дунаю его имя, заключает в себе большую поэзию, и простые, безыскусственные стихи:

Потому быстра река Дунай слово —
Своим устьем впала в сине море —

дышат каким-то успокоительным и примирительным чувством; в них высказывается широкое, хотя и совершенно неопределенное созерцание...

Каким образом Настасья королевична могла разъезжать по полям, ища, кто бы побил ее и женился на ней, в то время, как сестра ее Афросинья сидела взаперти, за двенадцатью булатными замками; каким образом Афросинья королевична превращается, ни с того ни с сего, в княгиню Апраксеевну, которая Дуная называет зятем, а Настасью — сестрою — об этом нечего и спрашивать у сказки. И неужели все жены Владимира превращались в Апраксеевну?.. Не забудьте притом, что в предшествовавшей поэме Апраксеевна уже отличалась с Тугарином Змеевичем; она не могла видеть Екима прежде замужества Афросиньи, а между тем Еким видел ее прежде, чем увидел Афросинью: стало быть, Владимир называл себя холостым и хотел жениться от живой жены, и Афросинья превратилась в Апраксеевну для того, чтобы избавить Владимира от греха двосженства?.. Вот тут и извольте составлять одну целую поэму из народных рапсодов!..

Читатели, конечно, заметили в предшествовавшей поэме, когда Дунай просит платья для своей жены, следующие стихи:

А втапору Владимир-князь он догадлив был,
Знает он кого послать:
Послал он Чурила Пленковича
Выдавать платьяце женское цветное.

Стало быть, где касалось дело до чего-нибудь женского, Чурила Пленкович был на своем месте? Оно так и есть, как мы сейчас увидим это. В лице Чурилы народное сознание о любви как бы попротиворечило себе, как бы невольно сдалось на обаяние соблазнительнейшего из грехов. Чурило — волокита, но не в *змеином* роде. Это молодец хоть куда и лихой богатырь. Но он нисколько не противоречит нашему взгляду на сознание народное о любви. Крайности сходятся; в фашистической Испании бывали примеры вольнодумства, а в Риме иерархия встретила себе оппозицию прежде, чем в самой Германии.¹ В этих случаях должно брать в соображение перевешивающий элемент, а в исключительных явлениях видеть или случайности, или возможность в будущем вступления в свои права и даже перевеса противоположного элемента. И потому мы смотрим на Тугаринных, как на нечто положительное, действительное и настоящее в жизни древней Руси; а на Чурилу — как на факт, свидетельствовавший о возможности в будущем другого рода любовников, как на новый элемент жизни, только подавленный, а не несуществующий.

Думая, что мы уже довольно познакомили читателей с манерою и слогом поэмы, мы расскажем о Чуриле своими словами и короче.

Во время столования Владимира к нему являются незнанные люди, человек за триста избитых, израненных молодцов—

Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны,
Бьют челом, жалобу творят.

Это были стрельцы княжие; целый день они рыскали по займищам и не встретили ни одного зверя, а встретили триста молодцов, которые зверей всех повыгнали и повыловили, а их перебили и переранили, и оттого «князю добыча нет», а им жалованья нет, «дети, жены осиротели, пошли по миру скитаться».

А Владимир-князь стольный киевский
Пьет он, ест, прохлаждается,²
Их челобитья не слушает. III*

Не успела эта толпа сойти со двора — валит другая. Это рыболовы: с ними та же история.

А Владимир-князь стольный киевский
Пьет он, ест, прохлаждается,
Их челобитья не слушает.

Не успела и эта толпа свалить со двора — валят вдруг две новые: то сокольники и кречетники. И с ними та же история. Против других, они прибавили в своем челобитье, что ограбившая и прибившая их ватага называется дружиною Чуриловою. Тут Владимир-князь за то слово спохватится: «Кто это Чурила есть таков?» Выступался тут старый боярин Бермята Вагильевич:

«Я-де, осударь, про Чурилу давио ведаю,
Чурила живет не в Клеве,
А живет он пониже малого Клевца.
Двор у него на семи верстах,
Около двора железный тыл,
На всякой тынине по маковке,
А я есть по жемчужинке, —
Среди двора светлицы стоят,
Грядни белодубовые,
Покрыты седым бобром,
Потолок черных соболей.
Матица-то валженая,
Пол середа одного серебра,
Крюки да пробой по булату злачены.
Первые у него ворота вальящетые,
Другие ворота хрустальные,
Третьи ворота оловянные».

Итак, Чурила Пленкович — щеголь, франт, живет, как сатрап восточный. Владимир-князь едет к нему со двором своим, в числе пятисот человек. Встречает их старый Плен; для князя и княгини отворяет ворота вальящетые, а князьям и боярам — хрустальные, а простым людям — ворота оловянные. Пошло столованье великое — *веселая беседа, на радости день*. Увидев в окно толпу людей, князь говорил таково слово:

«По грехам надо мною князем учинился,
Князя меня в доме не случилось,
Едет ко мне король из Орды
Или какой грозей посол».

Старый Пленка Сароженин только усмехается, сам потчищает и говорит, что то не король и не посол едет, а едет-де дружина хоробрая сына его, молода Чурилы Пленковича. К вечеру, когда пир был во полунире, а и стол был во полу-

столе, *едет сам Чурила Пленкович, а перед ним несут подсолнечник, чтоб не запыкло солнце бела его лица. Брал он, Чурила, ключи золотые, ходил в подвалы глубокие, вынимал золоту казну: сорок сороков черных соболей, другую сорок печерских лисид и камку белохрущату, а цена камке сто тысячей; приносил он ко князю Владимиру, клал перед ним на дубовый стол.

Втапоры Владимир-князь стольный киевский

Больно со княгинею возрадовалися:

Говорил ему таково слово:

«Гой еси ты, Чурила Пленкович!

Не подобает тебе в деревне жить,

Подобает тебе, Чуриле, в Клеве жить, князю служить!...»

Втапоры Чурила князя Владимира не послушался. И вот они в Клеве; посылает князь Чурилу князей и бояр в гости звать к себе, «а зва того приказал брать со всякого по десяти рублев». Обходя гостей звать, Чурила зашел ко старому боярину Бермяте Васильевичу, ко его молодой жене, к той Катерине прекрасной, — и тут он позамешкался. Князь Владимир то замешканье ему ни во что положил. Пошло столованье и пированье. Когда на другой день рано поутру князи и бояре к заутрени пошли, — в тот день выпадала пороха снегу белого — и нашли они свежий след, сами они дивуются: *либо зайка скакал, либо бел горностаи.*

А иные тут усмекаются, сами говорят:

«Знать это не зайка скакал, не бел горностаи,

Это шел Чурила Пленкович

К старому Бермяте Васильевичу,

К его молодой жене Катерине прекрасной».

Чурила Пленкович выдается из всего круга Владимировых богатырей: это самая гуманная личность между ими, по крайней мере, в отношении к женщинам, которым он, кажется, посвятил всю жизнь свою. И потому в поэме о нем нет ни одного грубого или сального выражения; но, напротив, его отношения к Катерине прекрасной отличаются какою-то рыцарскою грациозностью и означаются более намеками, нежели прямыми словами. В первый раз он *позамешкался* у молодой жены старого Бермяты; во второй раз тайна его посещения выдается вreden-

* Не скоро ели предки наши,

Не скоро двигались кругом

Ковши, серебряные чаши

С князящим ливом и вином.

«Руслан и Людмила».

тельскою порошею и оглашается не его хвастовством, а речами других и речами, против обыкновения, умеренными и даже поэтическими. За Чурилу можно поручиться, что он не стал бы ломаться над жертвою своего соблазна, не стал бы хвастаться победою во честном пиру; и тем более можно поручиться за него, что он не стал бы бить женщину по щекам или пинать ее пинками — «женский-де пол от того пухол бывает». А между тем он не неженка, не сантиментальный вздыхатель, а сильный могучий богатырь, удалой предводитель дружины хораброй. Конечно, он смешон, когда перед ним, вместо китайского зонтика, несут подсолнечник,¹ чтобы не загорелось от солнца его лицо белое, но он смешон грациозно и достолюбезно: он женский угодник, который дорожит своею наружностью, а не неженка запечный, не беззубый и безкоготный лев нашего времени.

Просим наших читателей вспомнить, что в поэме о женитьбе князя Владимира вскользь является лицо *Ивана Гостиного сына*: теперь мыознакомимся с ним, как с героем особенной поэмы. Это представитель другого сословия, всегда столь важного в начале гражданских обществ: хотя он не торговец, а богатырь, однако он явно сын купца, силою и храбростию севший при дворе князя Владимира на богатырское место.

У князя Владимира было пированье — почестный пир, а и было столованье — почестный стол на многи князи, бояра и на русские могучие богатыри и гости богатые. Будь день в полувину дня, будет пир во полупире: Владимир-князь распотешился, по светлой гридне похаживает, таковы слова поговаривает: «Есть ли-де кто в Клеве таков молодец, что похвалился бы на триста жеребцов — из Клева бежать до Чернигова два девяносто-та мерных верст, промеж обедней и заутреней?»

Вызвался Иван Гостиный сын и побился о велик заклад — не о сте рублях, не о тысяче, о своей буйной голове. Князя, бояре и гости-корабельщики держат заклад за Владимира на сто тысяч; а за Ивана никто поруки не держит; пригодился тут владыка черниговский, и держит за него поруки крепкие на сто тысячей. Выпил Иван чару зелена вина в полтора ведра, походил он на конюшню белодубову, ко своему к доброму коню бурочке, косматочке, троелеточке, падал ему во правое копытечко, сам плачет, что река льется. Выслушал добрый конь про кручину Ивана и сказал ему не печалиться:

«Снва жеребца того не боюсь,

Кологрива жеребца того не блюдусь»,

В задор войду — у Воронка уйду».

Только велел он своему ласковому хозяину водить себя по три зари, поить сытою медвяною и кормить сорочинским пшеном. «А как, говорит, придет тот час урочный, ты не седлай, Иван, меня добра коня, только берись за шелков поводок; вздень на себя шубу соболиную, котора шуба в три тысячи, пуговки в пять тысячей; а стану я бурка передом ходить, коштыами за шубу посащывати и по черному соболю выхватывати, на все стороны побрасывати, — князья, бояра подивуются, и ты будешь жив—шубу наживешь, а не будешь жив—будто нашивал». И всё было по сказанному, как по писанному. Зрявкает бурко по-туриному, он шип пустил по-змеиному; триста жеребцов испужались, с княженецкого двора разбежались; сив жеребец две ноги изломил, кологрив жеребец тот и голову сломил, полонен Воронко в Золоту Орду бежит, он, хвост подняв, сам всхрапывает, а князи, бояры и все люди купецкие испужались, окарачь они по двору нанолзались; а Владимир-князь со княгинею печален стал; кричит в окошечко косящетое, чтоб Иван уродье увел со двора, «а просты поруки крепкие, записи все изодраны». Втапоры владыко черниговский на почестном пиру у великого князя велел захватить три корабля на быстром Днепре с товарами заморскими, — «а князи-де и бояра никуда от нас не уйдут».

Трудно объяснить значение этой поэмы иначе, как народным апотеозом коня—животного высоко уважаемого в ратном деле, товарища, сподвижника и друга ратника. Странна неустойка князя, отказавшегося платить проигранный заклад; еще страннее иecerемонная разделка с ним со стороны черниговского владыки. Не менее удивительно и то, что этот черниговский владыко всегда держит заклады против князя и всех за того, за кого никто не хочет поручиться. Всё это должно быть или совсем без значения, просто сказочная болтовня, или от времени потеряян ключ к разрешению этих вопросов.

Теперь пора нам познакомиться с знаменитым Добрынею Никитичем, воспетым в трех поэмах и упоминаемым вскользь и прямо еще в нескольких. Он и Илья Муромец — знаменитейшие богатыри двора Владимира.

Жил в Рязани богатый гость Никита, живучи-то Никита состарелся, — состарелся, переставился; после его веку долгого осталось житье-бытье, богатество: *матера* жена Амелфа Тимофеевна да чадо милое Добрынюшка Никитич млад. Присадила его матушка грамоте учиться, а грамота Никите *в наук пошла*. А будет ему двенадцать лет, попросился он у матушки купаться на *Сафат-реку*; она вдова многоразумная его Добрыню отпустила, а сама наказывала: «Израй-де река быстрая, а быстрая

она, сердитая; не плавай, Добрыня, за первую струю, не плавай ты, Никитич, за другую струю». Добрыня же послушался: две-то струи сам переплыл, а третья струя подхватила молодца, увесла во пещеры белокаменны. Тут откуда ни возьмись лютый зверь—Змей Горыныч, сам приговаривает:

«А стары люди пророчили,
Что быть Змею убитому
От молода Добрынюшки Никитича,
А ныне Добрыня у меня сам в руках».

Говорит Добрыня: «Не честь, хвала молодецкая, на нагое тело напущаешься». Хочет змей Добрыню огнем спалить, огнем спалить, *хоботом* ушибить; Добрыня нагреб в шапку песку желтого, и тем песком змею глаза запорошил, *два хобота* ушиб. Попалась тут ему дубина, и он Добрыня той дубиной змея до смерти убил. Поплыл он по реке и заплыл в пещеры белокаменны, в гнездо змея, и его малых детушек всех перебил, пополам перервал; нашел он в палатах у змея много золота, серебра и свою любимую тетушку *Марью Дивовну*. Владимир-князь о Добрыне больно запечалился — *сидит он, ничего свету не видит*, а увидел Добрыню, скочил на ноги резвые, целовал его в уста сахарные. Бросилась его матушка родимая, хватала за белы руки, целовала его во уста сахарные; стали его выпрашивать, а где был, где ночевал? Послали за тетушкою, привели ее ко князю во светлу гридню.

Владимир-князь светел, радошен;
Пошла-то у них пир, радость великая,
А для ради Добрынюшки Никитича,
Для другой сестрицы родимья — Марья Дивовны.

Что сказать об этой поэме? Это какая-то бессвязная болтовня больного похмельем воображения... Тут нет не только мысли—даже смысла. У Добрыни нет ни лица, ни характера; это просто — призрак. Подобная нелепица могла бы иметь значение мифа, если бы от ее чудовищных образов веяло фантастическим ужасом; но в русских сказках, как и во всей народной русской поэзии, фантастического элемента почти как не бывало. И потому странно слышать, когда человек, который на мир смотрит простыми глазами, не видя в нем ничего таинственного и необъяснимого, — странно слышать, когда такой человек спокойно, без увлечения, без экстаза, рассказывает странные и несбыточные вещи. Что за тетушка Марья Дивовна была у Добрыни, как попала она к змею Горынычу; что за река *Сафат*, которая через пять строк превращается в *Израй-*

реку? Как Владимир, живя в Киеве, мог знать двенадцатилетнего Добрыню, жившего в небывалой тогда Рязани и печалиться, что тот ушел купаться на Сафат-реку?..

Но вторая поэма о Добрыне — одна из интереснейших поэм: в ее диких, неопределенных образах есть смысл и значение, если нет мысли.

В стольном в городе во Киеве, у славного, сударь, у князя у Владимира, *три* года Добрынюшка стольничал, *три* года Никитич приворотничал; он стольничал, чашничал *десять* лет, на *десятый* год погулять захотел по стольному городу по Киеву. Взявши он колчан¹ с калеными стрелами, идет он по широким по улицам, по частым мелким переулочкам; по горницам стреляет воробушков, по повалушкам стреляет он сизых голубей. Зашел в улицу Игнатьевскую, в Маринин переулочек, видит он у Марьяны у Игнатьевны, на ее высоком хорошем терему, сидят тут два сизые голубчика, они целуются, милуются, желты носами обнимаются. Тут Добрыне за беду стало, будто над ним насмеваются: а спела ведь тетивка у туга лука, взвыла да пошла калена стрела. Тут над Добрынею по грехам учинилось, нога его поскользнулась, рука удрогнула, не попал он в сизых голубей, а попал в окошечко косящето, проломил он оконницу стекольчатую, отшиб все причалины серебряные, расшиб он зеркальцо стекольчатое; белодубовы столы пошатались, что питья медвяника всплеснулись. А втапору Марине безвременье было — она умывалася, снаряжалася; и бросилася она на свой на широкий двор: «А кто это *невезжа* на двор заходил? а кто это неvezжа в окошко стреляет?..» Брала она Марина следы горячие молодецкие, клала беремья дров белодубовых в печку муравленую, разжигала их огнем палящатым, и сама дровам приговаривает: «Сколь жарко дрова разгораются, со теми следы молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое, как у молода Добрынюшки Никитьевича». А и *божьё крепко, вражьё-то легко!* Взяло Добрыню пуще острого ножа, по его сердцу богатырскому со полуночи Добрынюшке не уснетса. По его-то щастки великие рано зазвонили ко заутреням; пошел Добрыня ко заутрени, прошел он церкву соборную, зайдет ко Марине на широкой двор, у высокого терема подслушает; у молодой Марины вечеринка была, сидели тут душечки красны девицы и молоденьки молодушки, все тут жены молодецкие. К ним бы Добрыня в терем не пошел, а стала его Марина в окошко бранить, ему больно пенять, да завидел он Добрыня Змея Горынчата — тут ему за беду стало, за великую досаду показалось. Ухватил он бревно в охват толчины и вышиб им двери железные. Учала Марина Добрыню бранить, а Змеящита Горынчища чуть его огнем не спалил, а и чуть молодца хоботом не убил, а и сам тут Змей почал бранить его, больно пеняти:

«Не хочу я авати Добрынею, не хопу величать Никитичем, называю те детиною дровенщиною и засельщиною; почто ты, Добрыня, в окошко стрелял?» Вышмал Добрыня сабельку острую, воздымал выше буйной головы своей, грозится Змея изрубить на мелкие части пирожные, разбросать по чистому полю. А и тут Змей Горынич, хвост поджав, да и вон побежал; взяла страсть, так зачал....; околыши метал по три пуда....; бегучи он Змей у Марины бывать заклинается: «Есть-де у ней не один друг, есть лучше меня и *повежливей*». А Марина высунулась по пояс в окно в одной рубашке *без пояса*, Змея уговаривает: «Воротись, мил надежа, воротись, друг!» Обещает оборотить Добрыню во что он Змей похочет — клячею водозвозною али гнедым туром. И оборотила она Добрыню гнедым туром, пустила далече во чисто поле, а где-то ходят девять туров, девять братаников, что Добрыня им будет десятый тур, всем атаман — золотые рога. И нету о Добрыне слуху шесть месяцев, а *по-нашему, по-сибирскому, словом полгода*.

У великого князя вечеринка была, а на пиру были вдовы честные, и мать Добрыни, честна вдова *Афимья Александровна* (Амелфа Тимофеевна?!..), а друга честна вдова, молода Анна Ивановна, крестная матушка Добрынина. Промежду собою *разговоры говорят* — всё были речи прохладные. Не отколь взялась тут Марина Игнатьевна, водилася с дитятами княженецкими, она больно Марина упивалася, голова на плечах не держится. Она больно Марина похваляется: нет-де в Киеве и хитрея и умнея ее, обернула-де она гнедыми турами девять богатырей, десятого Добрыню Никитича. Втапору за то слово изымается честна вдова Афимья Александровна, наливала она чару зелена вина, подносила любимой своей кумушке, а сама она за чарою заплакала: «Гой еси ты, любимая кумушка, молода Анна Ивановна! А и вышей чару зелена вина, поминай ты любимого крестника, а и молода Добрыню Никитича: извела его Марина Игнатьевна, а и ныне на пиру похваляется». Проговорит Анна Ивановна: «Я-де сама эти речи слышала, а речи ее похваленные». А и молода Анна Ивановна выпила чару зелена вина, а Марину она по щеке ударила, сшибла с резвых ног и топчет ее по белым грудям, сама она Марину больно бранит: «А и сука ты,...., еретница,....! Я-де тебя хитрея и мудреней, сижу я на пиру не хвастаю; а и хошь ли я тебя сукой оберну? А станишь ты, сука, по городу ходить, много за собой псов водить: а и женское дело прелестивое, перепадчивое».

Марина обернулась касаткою, полетела в чисто поле, села Добрыне на правый рог, сама она Добрыню уговаривает: «Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле, тебе чистое поле наскучило и зыбучие болота *напрокучили*: а и хошь ли, Добрыня, жениться, возьмешь ли, Никитич, меня за себя?» — «А право

возьму, ей богу возьму, а и дам те, Марина, поученьице, как мужья жен своих учат».

Обернувшись девицею, Марина обернула Добрыню добрым молодцем; они в чистом поле женились, круг ракитова куста венчались. Пришедши в маринин терем, Добрыня говорит: «А и гой еси ты, моя молодая жена, Марина Игнатьевна! У тебя в высоких хороших теремах нету Спасова образа: некому у тебя помолитися, не за что стенам поклониться; а и чай моя острая сабля заржавела». А и стал Добрыня свою жену учить, молодую Марину Игнатьевну, еретницу,...., безбожницу; он первое ученье ей руку отсек; сам приговаривает: «Эта мне рука не надобна: трепала она, рука, Змея Горынычица!» А второе ученье — ноги ей отсек: «А и эта-де нога мне не надобна: оплеталася со Змеем Горынычем». А третье ученье — губы ей обрезал и с носом прочь: «А эти-де губы не надобны мне: целовали они Змея Горынычица!» Четвертое ученье — голову ей отсек и с языком прочь: «А и эта голова не надобна мне, и этот язык не надобен: знал он дела еретичные!»

Какая холодная и ужасная прония! Сколько в ней грубого и нечеловеческого! Это не казнь, а постепенное, продолжительное мучение! Здесь нет мгновенного порыва страсти, которая разит вдруг, как молния: здесь долго скрываемое, медленно разгоравшееся чувство мести высказывается сосредоточенно, холодно и медленно. Вдруг сверкающая и мгновенно убивающая страсть не в русской натуре: много нужно, чтобы возбудить в русском человеке страсть, и глухо, медленно разгорается она в неприступных и сокровенных глубинах сердца; зато и не скоро остывает, а выкачивается с какою-то ужасающею ледяностию, тяжело и неповоротливо. От нее нет спасения, от нее нет пощады. И потому русский богатырь не тороплив и мщеник; его мщение не остынет от сладкого обеда, не заснет от зелена вина; он может и покушать и высцаться, без всякого влияния на владеющее им чувство. И оно проявляется у него грубо и жестоко, как у Добрыни Никитича, который казнит злую еретницу Марину. Что такое эта Марина — не мудрено понять: это родная сестра княгини Апраксевны, и притом старшая сестра, далеко превосходящая ее в полноте выражаемой ею идеи. Это тип женщины, живущей вне общественных условий, свободно предающейся своим страстям и склонностям. Она в связи со Змеем Горынычем — типом русского любовника, как мы заимели выше; но она не должна отличаться излишнею верностию своему любовнику, она только больше других любит его. Она умеет и приворожить, и отлучить, и оборотить оборотнем. Она предается сама всем неистовствам и помогает другим: ее терем — приют для всех веселых людей обоего пола. Она горь-

кая пьяница; она еретница и безбожница. О грациозности ее нечего и говорить. Но вот о чем следует заметить: Анна Ивановна, крестная мать Добрыни, еще *мудреней* и *хитрей* самой Марины: она и саму Марину может обратить во что захочет. Она друг *честной вдовы*-матери Добрыни; она принимает горячее участие в правом деле; она сидит на пиру, не хвастается: по всему этому, она — представительница доброго начала, как Марина злого; она добрая, благодетельная волшебница, как Марина злая и вредная. Но она пьет зелено вино; ее слова к Марине дышат площадным цинизмом; она бьет Марину по щекам, валиет ее на пол, топчет ногами ее груди белые, словом: она в грации ни на волос не уступит Марине... Далее, из других сказок, мы увидим, что идеал женщины по русской фантазии всегда один и тот же: это всё та же Марина, только в разных видах...

Великий князь на пиру вызывает охотника очистить «дороги прямоезжие» до его зятя¹ любимого, до грозна короля Етмануйла Етмануйловича, вырубить Чудь белоглазую, прекротить Сорочину долгополую, а и тех черкес пятигорских, и тех калмыков с татарами, чукчи всё бы и алюторы (лютеране?).² Вызвался только один Добрыня Никитич. Просил он у своей матушки благословенья на шесть лет, да еще *в запас* на двенадцать. Мать спрашивает его, на кого он покидает свою молодую жену, когда еще не прошли и свадебные дни. «Что же мне делать и как же быть? *из чего же нас богатырей князю и жаловати?*» — отвечает Добрыня и наказывает своей молодой жене, душе Настасье Никулишне, ждать его двенадцать лет, а там, пожалуй, хоть и идти замуж за кого похочет, а только бы не ходить за его брата названного — Алёшу Поповича. Добрыня удачно совершил свой подвиг, а между тем проходит шесть лет, и посватал ее великий князь за Алёшу Поповича. Когда ту свадьбу ко венцу повезли, сдет Добрыня в Киев; старые люди переговаривают: «Знать-де полетка соколиная, видать и поездка молодецкая — что быть Добрыне Никитичу». Входит он в опустелый терем, — некому его встретить — матушка его старёхонька. Поздоровавшись с нею, он спешит к великому князю Владимиру отдать отчет в своем поручении. Втапору за то князь похвалил: «Исполать тебе, добрый молодец, что служишь правдою и верою». Говорит тут Добрыня Никитич млад: «Гой еси, сударь, *мой дядюшка*, ласково солнце, Владимир, князь! *Не диво Алёше Поповичу* — диво князю Владимиру: хочет у жива мужа жену отнять». Втапору Настасья засовалася, *хочет прямо скочить, обесчестить столы*; говорил Добрыня Никитич млад: «А и ты, *душка*, Настасья Никулишна!

Прямо не скочи, не бесчести столы: будет пора, кругом обойдешь». Взял за руку ее и вышел из-за убранных столов, извинился князю Владимиру да и молодому Алёше Поповичу: «Гой еси, мой названный брат, Алёша Попович млад! Здравствуй, женившись — да не с кем спать!»

Мы еще встретимся с Добрынею Никитичем; но и теперь уже видно, что он такое. Это честный и добрый богатырь, ненавистник лжи, притворства и хитростей, заклятый враг Змею Горынычу, которому стары люди напрогочили погибнуть от него, от Добрыни. Хотя Алёша и названный брат Добрыне, но Добрыня всегда держит камень за пазухой против Алёши и не кладет ему пальца в рот: так противоположен его прямой и честный характер лукавому и на всякие пакости способному характеру Поповича. Добрыня, по прошествии двенадцати лет, позволяет жене своей идти за кого ей угодно, кроме одного Алёши. Упреки князя за жену свою, он говорит: «*Не диво Алёше Поповичу — диво князю Владимиру: хочет у жива мужа жену отнять*». А впрочем, они — братья названные и взаимно уважают друг друга в качестве сильных могучих богатырей. Оба эти характера — два разные типа народной фантазии, представители разных сторон народного сознания. К дополнению характера Добрыни, мы должны прибавить, что в нем есть какая-то простоватость, и хотя в одной поэме и говорится, что «у Алёши вежество нерожденное», а «у Добрыни вежество рожденное и учевое», — однако это должно отнести больше к честности и доброте, чем к рыцарской ловкости Добрыни. Никитич — нечего греха таить — простоват и мешковат, — гнет дугу — не парит, переломит — не тужит. Целуются голуби — ему за беду становится и за великую досаду учиняется. Хочет он застрелить голубей — и попадает в окно к Марине. Не для чего-нибудь, а для шутки, его можно назвать русским Аяксом Теламонидом.

Илья Муромец отличается от всех других богатырей. Он — стар человек, на пирах не похвастается, он тридцать лет сидел сиднем, и вся остальная часть жизни его посвящена была на очищение проезжих дорог от разбойников и разных чудовищ. Это русский Геркулес. В первый раз он является ко Владимиру во время пира. Поднесли ему, Илье, чару зелена вина в полтора ведра, он принял ее одной рукой и выпил единым духом. Говорил ему ласковой Владимир-князь: «Ты скажись, молодец, как именем зовут, а по имени тебе можно место дать, по изотчеству пожаловати». — «А ты, ласковой стольный Владимир-князь! А меня зовут Илья Муромец, сын Иванович; и проехал я дорогу прямоезжую из стольного города из Му-

рома, из того села Корочаева». — Говорят тут могучие богатыри: «А ласково солнце, Владимир-князь! В очах детина завирается, а и где ему проехать дорогою прямоезжею, залегла та дорога тридцать лет от того Соловья-разбойника». Илья говорит, что он привез с собою Соловья-разбойника и просит князя выйти на двор — посмотреть его «удачи *богатырския*». Когда все вышли, Илья стал Соловья уговаривать: «Ты послушай меня, Соловей-разбойник млад! Посвисти, Соловей, по-соловьиному; пошипипи, змей, по-змеиному; зарявкай, зверь, по-туриному — и потешь князя Владимира». Послушался Соловей-разбойник — накурил он беды несносные: князи и бояра и все богатыри могучие на карачках по двору иаползались, гостинны кони со двора разбежались, а Владимир-князь едва жив стоит со душой княгиней Апраксеевной: «А и ты гой еси, Илья Муромец, сын Иванович! Уйми ты Соловья-разбойника, а и эта шутка нам не надобна».

Калин, царь Золотой Орды, осадил Киев; а войска с ним было на сто верст. Зачем мать сыра земля не погнется, зачем не расступится? От пару кониноного месяц и солнце померкнуло. Садился Калин на *ременчат* стул, писал ярлыки скорописчаты — от мудрости слово поставлено; посылал ко князю Владимиру татарина мерою трех сажен, голова с пивной котел в сорок ведер, промеж плечами косая сажень, посылал его сказать князю, что возьмет его, князя, в полон, божьи церкви на дым пустит. Татарин Спасову образу не молится, Владимиру-князю не кланяется и в Кисве людей ничем не зовет; бросал ярлыки на круглый стол перед князя Владимира, а князь запечалился, гляючи в ярлыки — заплакал свет: по грехам над князем учинилося, богатырей в Кисве не случилось. Втапору *Василий пьяница* взбежал на башню на стрельную, берет он свой тугой лук разрывчатый, калену стрелу переную, *наводил он трубками немецкими*, стрелял он в Калина-царя, не попал во собаку Калина-царя, а попал в зятя его Сартака: угодила стрела ему в правый глаз и ушибла его до смерти. И тут Калину за беду стало; послал он другого татарина к князю Владимиру, чтоб выдал того виноватого. Втапору с той стороны полуденныя, что ясный сокол в перелет летит, как белый кречет перепорхивает, бежит *палевица удалая, старый жокан* Илья Муромец. Входит он во гридню светлую, Спасу со Пречистою молится, бьет челом князю со княгиней и на все четыре стороны, а сам Илья усмехається: «Гой еси, сударь Владимир-князь! Что у тебя за болван пришел, что за дурак неотесанный?» Князь просит Илью пособить ему думушку подумати: сдать ли, не сдать ли Киев-град без бою, без драки великия, без того кровопролития напрасного. Илья не советует ему печаловаться, а велит на Спаса

надеяться, да велит ему насыпать мисучиста серебра, другую красна золота, а третью сжатного жемчуга. Взявши дары, Муромец пошел с татаринном в стан к царю Калину. А не честно у него Калин принял золоту казну, сам прибранивает. И тут Илье за беду стало: «Собака проклятой ты, Калин-царь! Отойди с татарами от Києва; охота ли вам, собака, живым быть?» И тут Калину за беду стало — велел связать Илье руки белые чембурами шелковыми; а втапору Илье за беду стало: «Собака проклятой ты, Калин-царь!» и проч. И тут Калину за беду стало, и плюет Илье во ясны очи: «А русский люд всегда хвастлив, оцутан весь — будто лысой бес, еще ли стоит передо мною, сам хвастает». Илье пожал плечами — чембуры лопнули, схватил Илье татарина за ноги, который ездил во Киев-град, и зачал татаринном помахивати: куда ни махнет — тут и улицы лежат, куды отвернет — с переулками, а сам татарину приговаривает: «А и крепок татарин, не ломится, а и жиловат собака, не изорвется!»* Разбежались татарские полчища; воротился Илье ко Калину-царю, схватил он Калина во белы руки, сам он Калину приговаривает: «Вас-то, царей, не бьют, не казнят, не бьют, не казнят и не вешают». Согнет его корчагою, воздымал выше буйны головы своей, ударял его о горяч камень, расшиб его в крохи... Достальные татары на побег бегут, сами они заклиняются: «Не дай бог нам бывати во Киеву! Не дай бог нам видати русских людей! Неужто в Киеве все таковы, один человек всех татар прибил?» Илье Муромец пошел искать своего товарища, того ли Ваську пьяницу и скоро нашел его на кружале Петровским, привел ко князю Владимиру. А пьет Илье довольно зелена вина с тем Васильем со пьяницей, и называет Илье того пьяницу Василья братом названным.

Хотя лицо Васьки пьяницы является как бы вскользь, мимоходом, однако оно столь же, если еще не более, важно, как и лица всех других героев народной фантазии. Знаете ли вы, читатели, что такое Васька пьяница? Если вы засмеетесь над этим приложением к собственному имени, над этим тривиальным и безнравственным прозвищем *пьяницы*, если оно покажется вам смешным или пошлым, — вы не понимаете глубоко мифического значения Васьки... Этот Васька — любимое дитя народного сознания, народной фантазии; это не олицетворение слабости или порока, в поучение и назидание других; это, напротив, похвальба подразумеваемой слабостию. Мы не спорим, что пьянство порок; но если тот или другой порок есть порок нации, — на него должно уже смотреть с философской точки зрения, должно обращать внимание, во-первых, на историче-

* Новый пример саркастической иронии русской.

ские причины, вследствие которых тот или другой порок сделался общим для целой нации, а во-вторых, на то, как являет себя народ в этом пороке. Общественная нравственность древней Руси исключила пьянство из числа пороков: оно было улегитимировано общественным сознанием. Русский человек пьет и с горя и с радости; и перед делом, чтоб дело живее кипело, и после дела, чтоб отдых был приятнее; и перед опасностью, чтоб море было по колено, и по избежании опасности, чтоб веселее было похвастаться ею. У русского человека много послов в пользу пьянства: «пьяный проспится, дурак никогда»; «пьяному море по колено»; «пьян да умен — два уголья в нем»; и т. п. Кружало — турнир, бал русского человека. В нашем простонародье и теперь все пьют — и старики, и молодые, и женщины, и дети. У нас пьяного на улице не оберут, не прибьют, но бережно обойдут. Просвещение уже уничтожает и уничтожит этот порок, и дай бог, чтоб это скорее сделалось; но в этом пороке русский человек является не с одной дурной стороны своей. Винават ли русский мужичок в том, что для него не существует ни театра, ни книги, ни вечеринки (ибо вечеринка только там, где женщина играет первую роль и где всё для нес)? Я очень уважаю трезвость, но мне случалось встречать таких пьявиц, которые лучше многих трезвых, и едва ли только не на одной святой Руси можно встретить таких. Человек с слабой натурой гнется от несчастья, как тростинка от ветру; человек с сильной натурой, если не устоит против несчастья, то сокрушается от него, как дуб от напора грозы. Русский человек, женившись не по любви, получал отвращение от жены, которую должеи кормить трудами своими. Немец и тут не потерялся бы — он сделался бы примерным супругом, аккуратным хозяином и вообще «нравственным» человеком (т. е. человеком, которому можно обходиться в жизни и без любви, с одним картофелем, пивом и кнастером). Попавши в состояние противоречия, русский человек делался суровым, бил жену, колотил детей, не жил дома, трудовую копейку нес на кружало, отдавал ее за зелено вино, которое в диком, животном, но широком и могучем размете души заставляет его забывать тяжкое горе зло насмеявшейся над ним жизни. В старину на Руси отъявленными пьяницами были богатыри, грамотники, умники, искусники, художники. Если теперь слова «художник» и «ученый» не имеют ничего общего с словом «пьянство», так это потому, что общественное мнение нашего времени улегитимировало, наконец, звание художника и ученого, общество приняло их в среду свою и дало им почетное место; а то ведь тяжело жить умному среди глупых, быть игрушкой и предметом презрения их глупости — поневоле пойдет он на кружало да, приложив руку к уху, затынет!

А и горе, горе, гореваньце,
А в горе жить — не кручкну быть!

Неопределенность общественных отношений, сжатая извне внутренняя сила всегда становятся народ и человека в трагическое положение. Пьянство русского человека есть не слабость, — как слабость, пьянство особенно гнусно, — пьянство русского человека есть порок, и порок не комический, а трагический... Удивительно ли после этого, что русские богатыри единым духом выпивают чару зелена вина в полтора ведра, турий рог меду сладкого в полтретья ведра?.. Удивительно ли, что на Руси пьяницы спасали отечество от беды и допускались к столу Владимира Красна солнышка?.. Васька пьяница это — человек, который знает правило: *пей, да дело разумей*, человек, который с вечера повалится на пол замертво, а встанет раньше всех и службу сослужит лучше трезвого. Это — повторяем — один из главнейших героев народной фантазии: оттого-то и Илья Муромец с ним выпил довольно зелена вина и назвал того пьяницу Василья братом названным.

Раз поехал Илья Муромец с своим братом названным, Добрынею Никитичем, и будут они у реки Черечи, у матушки у Сафат-реки, и сказал Илья Добрыне, чтоб он ехал за горы высокие, а сам-де я останусь у Сафат-реки. И наехал Добрыня на бел шатер; из того шатра выходила баба Горынинка, и у них с Добрынею учинился бой, драка великая, бросали они палицы тяжкие, стали драться рукопашным боем. А Илья наехал по следу бродучему на богатыря Збута Бориса королевича, который в то время со руки спускался ясна сокола-выклоку, а увидев Илью, сказал выклоку, чтоб летел, куда хочет: теперь-де мне не до тебя. Збут-королевич угодил стрелю в грудь стара козака Ильи Муромца, а Илья не бьет его палицею тяжкою, не вымает из налушна тугой лук, из колчана калену стрелу, не стреляет он Збута Бориса королевича — его только схватил во белы руки и бросает выше дерева стоячего. Подхватив его на лету, положил на сыру землю и стал спрашивать о дядине, отчине. «Кабы у тебя на грудях сидел, я спорол бы тебе старому груди белые», — сказал Збут. И до того его Илья бил, пока всю правду сказал: «Я того короля Задонского». А втапору зашлакал Илья Муромец, гляючи на свое дитя милое. Приехав домой, Збут Борис королевич рассказал свою удачу матушке. А втапору его матушка разилася о сыру землю, и не может во слезах слова молвити: «Зачем ты на Илью напущаешься, а надо бы тебе ему поклониться о праву руку до сырой земли: он по роду тебе батюшка, старый козак Илья Муромец, сын Иванович». Поехал Илья искать своего брата названного Доб-

рыню Никитича: и дерется он с бабой Горынинкой — едва душа его в теле *полуднует*. Говорит ему Илья Муромец: «Не умеешь ты, Добрыня, с бабой драться: а бей ты бабу по щеке, пинай, а женской пол от того пухол». А и втапору она баба покорила, говорит она, баба, таковы слова: «Не ты меня побил, Добрыня Никитич млад: побил меня старой козак Илья Муромец единым словом». Добрыня скочил ей белы груди пороть чингалищем булатным; взмолилася баба Илье Муромцу, обещает много золота, серебра, и повела их в погреба глубокие, они сами богатыри дивуются; оглянулся Илья Муромец во те во раздолья широкие — молодой Добрыня Никитич млад втапору бабе голову срубил.

Из этой сказки видно, что Илья Муромец был сильнее всех богатырей, и самого Добрыни, и что хотя он с дамами обращался в духе русского рыцарства, однако не чужд был и любовных походов. Добрыня тут является в неизменном своем характере — заклятого врага всех Горыничатов и Горынинков, мужеска и женска пола; но что за баба Горынинка — бог весть! Вообще, это одна из самых нескладных и дичих сказок.

Последняя сказка об Илье Муромце — «Станишники» сбивается своим содержанием на его приключение с Соловьем-разбойником. На него напали разбойники, а он, вместо их, выстрелил в краковястый дуб и разбил его в щепы; разбойники со страху попадали, пять часов без ума лежали, а там будто от сна пробужались: а Сёма встает пересёмывает, а Спирия встает, то постыривает, — и все они просят его взять их в свое холопство вековечное. А Илья говорит им: «А и гой еси вы, братцы станишники! Поезжайте от меня во чисто поле, скажите вы Чуриле, сыну Пленковичу, про старого козака Илью Муромца».

На пиру у себя Владимир-князь сказал Поток Михайлу Ивановичу — сослужить службу заочную, съездить к морю синему, на теплые, тихи заводи, настрелять гусей, белых лебедей, перелетных малых уток к его столу княженецкому, «до любиде тебя молодца пожалую». Настрелявши птиц вдоволь, Поток хотел воротиться в Киев, как вдруг увидел белую лебедушку, она через перо была вся золота, а головушка у ней увивана красным золотом и скатным жемчугом усажена. Натянул он свой тугой лук — заскрипели полосы булатные и завылли рога у туга лука, а и чуть было спустит калену стрелу — проведит ему лебедь белая, Авдотьюшка Лиховидьевна: «А и ты, Поток Михайло Иванович! Не стреляй ты меня, лебедь белую, не в кое время пригожуся тебе!» Обернулася она красной девицей, воткнул Поток копьё в землю, привязал к нему коня, сохватал девицу за белы руки и целует ее во уста сахарные.

Авдотьюшка Лиховидьевна втапору больно его уговаривала: «А ты, Поток Михайло Иванович! Хотя ты на мне и женишься, и кто из нас прежде умрет, второму за ним живому во гроб идти». Согласились, он поехал к Киеву, а она полетела, обернувшись лебедушкой. И дивуется Поток, что он нигде не мешкал, не стоял, а она опередила его и под окошечком косячатым сидит. Приехав к князю, Поток рассказал свое похождение, и просит его сделать для него пир свадебный, веселый. Обвенчавши Потока с Авдотьей, попы взяли с них присягу, кто прежде кого умрет, второму живому в гроб идти. Через полтора года Авдотья Лиховидьевна с вечера она расхворалась, ко полуночи разболелась, поутру и преставилась. Вырыли могилу глубиною, шириною по двадцати сажени, погребали тело Авдотьино, и тут Поток Михайло Иванович с конем и со сбруею ратною опустился в тое ж могилу глубокою, и заворочали потолком дубовым, и засыпали песками желтыми, а над могилою поставили деревянный крест,— только место оставили веревке одной, котора была привязана к колоколу соборному. В могиле для страху Поток зажигал свечи воску ярого, и в полночь собирались к нему все гады змеиные, а потом пришел большой змей — он жжет и палит пламем огненным. А Поток не робок был, саблю схватил да змею голову отрубил, и тою головою змеиноу чал тело авдотьино мазати. Втапору она еретница из мертвых пробуждается, Поток за веревку схватил; услышав звон, пришли и разрыли их, объявили князю Владимиру и тем попом соборным, поновили их святой водой, приказали им жить по старому. Когда Поток умер, его молодую жену с ним вместе зарыли живую, и тут им стала быть память вечная.

Трудно сказать что-нибудь об этой сказке — так чужда она всякой определенности. Все лица и события ее — миражи: как будто что-то видишь, а между тем ничего не видишь. Почему Авдотья Лиховидьевна — колдунья, не знаем, потому что она ни образ, ни характер. Или все женщины, по понятию наших добрых дедов, были колдуньи? Не мудрено: ведь и сама любовь понималась ими не иначе, как дьявольским навождеием... Поток — тоже, что-то вроде ничего, и вообще вся эта сказка — ничего, из которого ничего и не выжмешь.

Как издалеча было из Галичья, из Волянца города из Галичя, выезжал удача добрый молодец, молодой Михайло Казарянин, ехал он ко князю Владимиру; спрашивал его Владимир-князь, отколу приехал и как зовут, чтоб по имени ему место дать, по изотчеству пожаловати; наливал он ему чару зелена вина — не велика мера в полтора ведра, и проводывает могучего богатыря, чтобы выпил чару зелена вина и турий рог

меду сладкого в полтора третья.¹ Затем он сделал ему такое же порученье, как и Потоку Михайлу Ивановичу. Когда он возвращался с настреленною дичью ко Владимиру, поехал в поле сыр кряковистый дуб, на дубу сидит тут черный ворон, с ноги на ногу переступывает, он правильно перушко поправливает, а и ноги, нос — что огонь горят. За беду Казарину показалось, а и хочет он застрелить черного ворона, а черный ворон ему провещится — просит его не трогати, а велит ему ехати дальше, а там-де ему богатырю добыча есть. И увидел Казарянин в поле три шатра, стоит беседа — дорог рыбий зуб, на беседе сидят три татарина, три собаки наездники, перед ними ходит красна девица, русская девица полоняночка, Марфа Петровична, в слезах не может слово молвити, добре жалобно причитаючи: «О злосчастная моя буйна голова! Горе-горькое, моя руса коса! А вечер тебя матушка расчесывала, расчесала матушка, заплетала; я сама, девица, знаю, ведаю — расплетать будет мою русу косу трем татарам наездникам». Наш рыцарь перебил татар, но с девицею полоняночкою поступил совсем не по-рыцарски: «Повел девицу во бел шатер, как чуть ему с девицею грех творить, а грех творить, с нею блуд блудить»; как девица расплачется и скажет ему свое имя, что она-де из Волянца города, из Галичья, гостинная дочь. Казарянин узнает в ней родную сестру свою. Взяв ее с собою, коней, оружие и беседу татар, приехал ко князю Владимиру, который и берет себе всю его добычу, а ему говорит: «Исполать тебе добру молодцу, что служишь князю верою и правдою».

Из-за моря, моря синего, из славна Волянца, красна Галичья, из тоя Карелы богатыя, как ясный сокол вон вылетывал, как бы белый кречет вон выпархивал,— выезжал удача добрый молодец, молодой Дюк, сын Степанович, а и конь под ним, как бы лютый зверь, лютый зверь конь — и бур, космат, у коня грива на леву сторону, до сырой земли; он сам на коне, как ясен сокол, крепки доспехи на могучих плечах; немного с Дюком живота пошло, что куяк и панцырь чиста серебра — в три тысячи, а кольчуга на нем красна золота — цена сорок тысячей, а и конь под ним в пять тысячей. Почему коню цена пять тысячей? — За реку он броду не спрашивает, котора река цела верста пятисотная, он скачет с берегу на берег: потому цена коню пять тысячей. Еще с Дюком живота немного пошло: пошел тугой лук, разрывчатой, а цена тому луку три тысячи; потому луку цена три тысячи: полосы были серебряны, а рога красна золота, а и тетивочка была шелковая, а белого шелку шимаханского; и колчан пошел с ним каленых стрел, а в колчане было за триста стрел, всякая стрела по десяти рублей,

а еще есть во колчане три стрелы, а и тем стрелам цены не было: колоты они были из трость древа, строганы в Новгороде, клеены они клеєм осетра рыбы, перены они перьями сиза орла, а сиза орла, орла орловича, а того орла, птицы камския, — не тоя-то Камы, коя в Волгу пала, а тоя-то Камы за синим морем, — своим устьем впала во сине море (т. е. не той Камы, которая есть на земле, а той, которой не бывало); а летал орел над синим морем, а ронил он перья во сине море, а бежали гости корабельщики, собирали перья на синем море, вывозили перья на святую Русь, продавали душам красным девидам: покупала Дюкова матушка перо во сто рублей, во тысячу. Почему те стрелки дороги? — Потому они дороги, что в ухах поставлено по тпрону, по камению, по дороге самоцветному, а и еще у тех стрелок подле ушей перевивано аравитским золотом. Ездит Дюк подле синя моря и стреляет гусей, белых лебедей, перелетных серых малых уток; он днем стреляет, в ночи те стрелки собирает: как днем-то тех стрелочек не видети, а в ночи те стрелки что свечи горят — свечи теллются воску ярого: потому они, стрелки, дороги. Когда Дюк вошел во гридню Владимирову, все гости скочили с мест на резвы ноги: смотрят на Дюка — сами дивуются. Пошло пированье и столованье. Дюк с теми князи и боярами откушал калачики крупичаты — он верхню корочку отламывает, а нижню корочку прочь откладывает. А во Киеве был щастлив добре как бы молодой Чурила, сын Пленкович — оговорил он Дюка Степанова: «Что ты, Дюк, чем чванишься? — верхню корочку отламываешь, а нижню прочь откладываешь». Говорил Дюк Степанович: «Ой ты, ой еси, Владимир-князь! В том ты у меня ¹ не прогневайся — печки у тебя биты глиняны, а подики кирпичные, а помелечко мочальное в лохань обмакивают; а у меня, Дюка Степанова, у моей сударыни матушки, печки были муравленные, а подики медные, помелечко шелковое в сыту медвяную обмакивают; калачик съешь — больше хочется».

Эта неслыханная роскошь возбудила в князе желание быть в доме у Дюка, и, взяв с собою Чурилу и двор, он поехал. На крестьянских дворах Дюк так угостил Владимира, что он сказал ему: «Каково про тебя сказывали, таков ты и есть». Переписывал Владимир-князь Дюков дом, переписывали его четверо суток, а и бумаги не стало. Втапору Дюк повел гостей ко своей сударыне матушке и ужасается Владимир-князь, что в теремах хорошо изукрашено. Угостила матушка Дюкова дорогих гостей, говорил ей ласковой Владимир-князь: «Исполать тебе, честна вдова многоразумная, со своим сыном Дюком Степановым! Употчивала меня со всеми гостями, со всеми людьми, хотел было ваш и этот дом описывать, да отложил все печали на радости». Втапору честна вдова многоразумная дарила князя своими

честными подарками: сорок сороков черных соболей, вторые сорок бурнастых лисиц, еще сверх того каменья самоцветными.

То старина, то дьянье:
Синему морю на утешевье,
Быстрым рекам слава до моря;
А добрым людям на послушанье;
Веселым молодцам на потешенье!

Эта сказка одна из примечательнейших, особенно по этому тону простодушной иронии, с какою описывается *бедность* вооружения и вообще *живота*, бывшего с Дюком, по этой лукавой скромности, с какою Дюк объясняет князю причину, почему он ест у калачиков только верхнюю корочку. Эта простодушная ирония есть один из основных элементов русского духа: русский человек любит похвастаться, но никогда прямо, а всегда обиняком, а более всего с скромным до наглости самоунижением, вроде следующего: «Где-ста нам дуракам чай пить! Что наше за богатство — всего тысяч сто в месяц получаем, да и те с горем пополам: не знаем-де, куда класть и прятать». Дюк богаче князя Владимира, за то Владимир велит описывать его имение, и только будучи уж слишком употчиван, «отлагает все печали на радости», а матушка Дюка дарит князю трое сороков мехов и каменьев самоцветных — черта чисто восточная!..

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота океан-море;
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские!

Из-за моря, моря синего, из глухоморья зеленого, от славного города Леденца, от того-де царя ведь заморского, выбегали, выгребали тридцать кораблей, тридцать кораблей — один корабль славного гостя богатого, молодца Соловья, сына Будимировича. Хорошо корабли изукрашены — один корабль лучше всех: у того было сокола у корабля вместо очей было вставлено по дорогому камению, по яхонту, вместо бровей было прибывано по черному соболю *якутскому*, и *якутскому* ведь *сибирскому*; вместо уса было воткнуто два остра копыя мурзаметские, ¹ и два горностая повешены, два горностая, два зимние; у того было сокола у корабля вместо гривы прибывано две лисицы бурнастые; вместо хвоста повешено на том было соколе корабле два медведя белые заморские; нос, корма по-туриному, бока взведены по-звериному. На том корабле был сделан *муравлен чердак*, в чердаке была беседа — дорог рыбий зуб, подернута беседа рыгым бархатом; на беседе-то сидел *Кунав*

молодец, молодой Соловей, сын Будимирович; спрашивал он гостей корабельщиков и целовальников любимых, чем ему ласкова князя Владимира будет дарить (после мы увидим, что они ему присоветовали). Прибежали корабли под славной Киевград, якоря метали в Днепр-реку, сходни бросали на крут бережок, товарную пошлину платили. Соловей у князя в гридне и подносит ему свои дорожки подарочки: сорок сороков черных соболей. вторые сорок бурнастых лисиц; княгине поднес камку бело-хрущатую, недорого камочка — узор хитер: хитрости Царяграда, мудрости Иерусалима, замыслы Соловья, сына Будимировича; на злате и серебре — не погневаться. Князю дары полюбилися, а княгине наипаче того. Говорил ласковой Владимир-князь: «Гой еси, ты богатый гость Соловей, сын Будимирович! Займуй дворы княженецкие, займуй ты боярские, займуй ты дворы и дворянские». Соловей ото всего отказывается, а просит только загон земли, непаханья и неоранья, у княженецкой племянницы, у молодой *Запава Путятишной*, в ее зеленом саду, в вишенье, в орешенье, построить ему, Соловью, снаряжен двор.

Походил Соловей на свой червлен корабль: «Гой еси вы, мои люди работные! Берите вы топорики булатные, подите к Запаве во зеленый сад, постройте мне снаряжен двор, в вишенье, в орешенье». С вечера, поздним-поздно, *будто дятлы в дерево пощелкивали*, работала его дружина хорабрая, ко полуночи и двор поспел: три терема златоверховаты, да трои сени косячатые, да трои сени решетчатые. Хорошо в теремах изукрашено: на небе солнце — в тереме солнце; на небе месяц — в тереме месяц; на небе звезды — в тереме звезды; на небе заря — в тереме заря, — и вся красота поднебесная. Рано просыпалася Запава, посмотрела Запава в окошечко косячатое, в вишенье, в орешенье, — чудо Запаве показалось: «Гой еси, нянюшки и мамушки, красные сенные девушки! Подите-тко посмотрите-тко, что мне за чудо показалось в вишенье, в орешенье!» Те отвечают ей: «Счастье твое на двор к тебе пришло». Бросилася Запава в терема; у первого терема послушала: тут в тереме щелчит, молчит — ложит Соловьева золотаканна. Вовтором тереме послушала: помаленьку говорят, все молитвы творят — молится Соловьева матушка со вдовы честны, многоразумными. У третьего терема послушала: тут в тереме музыка гремит. Входила Запава в сени косячатые, отворяла двери на пята, — больно Запава испугалася, резвы ноги подломилися, чудо в тереме показалось: на небе солнце — в тереме солнце, и пр. Подломилися ее ноженьки резвые; втапоры Соловей, он догадлив был, бросил свои звончаты гусли, подхватывал девицу за белы ручки, клал на кровать слоновых костей да на те ли перины пуховые. «Чего-де ты, Запава, испужалася: мы-де оба на возрасте». —

«А и я-де девица на выданье, пришла-де сама за тебя свататься». Тут они и помолвили, целовалися, миловалися, золотыми перстнями обменялися. Проведав про то, Соловьева матушка свадьбу посрочила: «Съезди-де за моря синие, и когда-де там расторгнешься, тогда-де и на Запаве женишься». Втапоры же поехал и голый Шап Давид Попов, скоро он за морями исторгнется, а скорей того назад в Киев прибежал, приходил ко князю с подарками — принес сукно смурое, да крашенину печатную. Втапоры его князь о Соловье спрашивал; отвечал ему голый Шап, что видел Соловья в Леденце-городе, у того царя заморского; Соловей-де в протаможье попал и за то посажен в тюрьму, а корабли его отобраны на его ж царское величество. Больно Владимир закручинился, скоро вздумал о свадьбе — что отдать Запаву за голого Шала Давида Попова. Тысячкой — ласковой Владимир-князь, свашела — княгиня Апраксеевна, в поезде — князи и бояре, поезжали ко церкви божией. Втапоры на девяности кораблях прибыл Соловей во Киев-град. Тотчас по поступкам Соловья опознавали, приводили его ко княженецкому столу. Сперва говорила Запава Путятишна: «Гой еси, мой сударь, дядюшка, ласковой, сударь, Владимир-князь! Тот-то мой прежний обрученный жених: прямо, сударь, скачу — обещещу столы». Говорил ей ласковой Владимир-князь: «Гой еси, ты Запава Путятишна! А ты прямо не скажи — не бесчести столы». Выпускали ее из-за дубовых столов, пришла она к Соловью, поздоровалася, взяла его за рученьку белую и села с ним на большо место, а сама она Запава говорила голому Шапу таково слово: «Здравствуй, женимши, да не с кем спать!» Втапоры ласковый Владимир-князь весел стал, а княгиня наипаче того; поднимали пирушку великую.

Раз на пиру Владимир-князь сказал Ивану Гоудиновичу: «Гой еси, Иван ты Гоудинович! А зачем ты, Иванушка, не женишься?» — «Рад бы, осударь, женился, да негде взять: где охота брать, за меня не дают; а где-то подают, ту я сам не беру». Князь велел ему садиться на *ременчат* стул, писать ярлыки *скорописчаты* о добром деле, о сватанье, к Димитрию, черниговскому гостю богатому. А Владимир-князь ему руку приложил: «А не ты, Иван, поедешь свататься, сватаюсь я-де Владимир-князь». А скоро Иван поездку чинит ко городу Чернигову: *два девяности* верст переехал в два часа. Прочитал ярлык Димитрий-гость: «Глупой Иван, неразумный Иван! Где ты, Иван, перво был? Ноне Настасья просватана, душа Димитревна запоручена в дальню землю Загорскую, за царя Афромея Афромеевича; за царя отдать — ей царцею слыть, — пановя и улановья все поклонятся, а немецких языков счету нет; за тебя, Иван, отдать — холопкой слыть, избы мести, заходы скрести». Тут

Иванушке за беду стало — схватил ярлык, да и прямо в Киев ко Владимиру-князю. Тут ему, князю, за беду стало, рвет на главе черны кудри свои, бросает о кирпичет пол: «Гой еси, Иван Годинович! Возьми ты у меня, князя, сто человек русских могучих богатырей, у княгини ты бери другое сто, у себя, Иван, третье сто; поезжай ты о добром деле — о сватанье: честию не даст, ты и силой бери». Выпала пороша — наехал Иван с дружиною на три зверины следа: сто человек посылал за гнедым туром, другое сто — за лютым зверем, а третье сто — за диким вепрем; велел изымать их бережно — без той раны кровавыя, и привести их во Киев-град; а сам он, Иван, поехал один во Чернигов-град. У Дмитрия гостя богатого сидят мурзы, улановья, *по-нашему, сибирскому, дружки словут*, привезли они от царя платье цветное на душку Настасью Дмитревну; а сам он, царь Афромей, от Чернигова в трех верстах стоит, и с ним силы три тысячи. Взял Иванушка Годинович душку Настасью из-за занавесу *белого* за руку *белую*, потащил ов Настасью — *лишь туфли звенят*. Выговорит ему Дмитрий-гость: «Гой еси, ты, Иванушка Годинович! Суженое пересуживает, ряженое переряживает;¹ можно тебе взять не гордостью — веселым пирком, свадебкою». — «Не мог ты честию с собой вонне беру — и не кланяюсь». Посадил Настасью с собой в добра коня, переехал он девяносто верст и поставил тут свой бел шатер, изволил он, Иван, с Настасьей опочив держать. Пересказали царю мурзы и улановья телячьим языком восточку нерадошну, а и тут царь закричал, заревел зычным голосом; Иван предложил царю бороться — кому Настасья достанется. Согнет он царя корчагою, опустил на сыру землю — царь лежит, свету не видит. Отошел Иван за кустик ..., а царь пропищал: «Думай, Настасья, не продумайся; за царем за мною быть — царицею слыть; за Иваном быть — холопкой слыть, избы мести, заходы скрести». А и снова борьба начинается — втапоры Настасья Ивана за ноги изловила — тут его двое и осилили. Привязал его царь за руки белые ко сыру дубу, стал с Настасьей поигрывать, а назолу дает ему, молоду Ивану Годиновичу. По его было талану добра молодца, прибежала перва высылка из Киева, они срезали чембуры шелковые, его Ивана опрастывали. Говорит тут Иванушка Годинович: «А и гой еси, дружина хорабрая! Их-то царей не бьют, не казнят, не бьют, не казнят и не вешают: повезите его ко городу Киеву, ко великому князю Владимиру». А сам он Иван остался во белом шатре, стал жену учить. (*Поученье Ивана есть повторение того, которое Добрыня делал Марине, с следующею разницею в конце: «и этот язык мне не надобен — говорил с царем неверным и сдавался на его слова прелестные»*). Приехав к князю, Иван благодарит его за милость великую, что женил его на душке Настасье

Дмитревне. Услышав от Ивана о *поученьи*, втапоры князь весел стал, отпустил Вахромея царя, своего подданника, в его землю Загорскую: только его увидели, что обернется гнедым туром, поскакал далече во чисто поле к силе своей.

На пиру у князя Владимира пригодились тут две честные вдовы — Чесовая жена и Блудова жена — обе жены богатые, богатые жены дворянские. Промежду собой сидят, *за прогляд говорят*. Сватала Блудова жена сына своего Гордена, за дочь Чесовой жены, Авдотью Чесовичну. Втапоры Авдотья Чесовична (мать) осердилася, била ее по щеке, таскала по полу, кирпичету и при всем народе, при беседе, вдову опозорила, и весь народ тому смеялися. Скоро пошла вдова Блудова ко своему двору, а идет она шатается; выбегал к ней за ворота широкие Горден сын Блудович; поклонился матушке в праву ногу: «Гой еси, матушка! Что ты, сударыня, идешь закручинилася? Али место тебе было не <по> отчине? Али чарой зеленым вином обносили тебя?» Авдотья Блудовна жалобу приносит сыну своему Гордену Блудовичу; молодой Горден уклал спать свою родимую матушку — *втапоры она была пьяная*. И пошел Горден на двор к Чесовой жене, сжимал песку горсть целую, бросил он по высокому терему, где сидит молодая Авдотья Чесовична — пол-терема сшиб, виноград подавил. Втапоры Авдотья Чесовична бросилася, будто бешеная, из высокого терема, пробежала мимо Гордена, ничего не говоря, на княженецкий двор своей родимой матушке жаловатися. Втапоры пошел туда же и Горден — рассматривать вдову, Чесову жену. Вдовины ребята с ним заздорили, взяли Гордена пощипывать, надеючись на свою родимую матушку. Горден им взмолился: «Не троните меня, молодцы! А меня вам убить, не корысть получить!» Они не послушались, он их всех прибил, а было их пять человек. Вдова Чесова послала еще своих четырех сыновей — убить Гордена, и только один хотел было ударить его по уху — Горден верток был, того он ударил о землю и до смерти ушиб, а также и остальных троих. Взял он, Горден, Авдотью Чесовичну за руки белые да и повел ко божьей церкви венчатися; а поутру стол собрал, позвал князя со княгинею и молодую свою тещу, Авдотью Чесову жену. Втапоры было Чесова жена *загордилася*, не хотя идти к своему зятю; тут Владимир-князь стольный киевский и со княгинею стали ее уговаривати, чтоб она на то больше не кручинилася, не кручинилася и не гневалася, — и она тут их послушалася, пришла к зятю на веселый пир, стала пити, ясти, прохлаждатися.

Был пир у князя Владимира. Князи и бояра пьют, едят, потешаются и великим князем *похваляются*; и только из них один

боярин Ставр Годинович не пьет, не ест и при всей¹ братьи не *хвастает*, только наедине с товарищем *таковы речи сказывает*: «Что это за крепость во Киеве, у великого князя Владимира? У меня-де, Ставра боярина, широкий двор не хуже города Киева: а двор у меня на семи верстах, а гридни, светлицы бело-дубовы, покрыты гридни седым бобром, потолок во гриднях черных соболей, пол, середа одного серебра, крюки да пробои по булату злачены». *Слуги верные* донесли о том князю Владимиру: приказал князь сковать Ставра боярина, посадить его в погреба глубокие, двор его запечатати и молоду жену его взять ко двору. Перепала весть нерадошна молодой жене Ставровой; скоро она наряжается и скоро убирается: скидывала с себя волосы женские, надевала кудри черные, а на ноги сапоги зелен сафьян, и надевала платье богатое, богатое платье посольское, и называлась грозным послом, Василием Ивановичем, а и будто из дальней Орды, золотой земли, от грозна короля Етмануйла Етмануйловича — братъ с князя Владимира дани невыплаты, не много не мало за двенадцать лет, за всякий год по три тысячи. А и тут больно князь запечалился: кидались, металися, то улицы метут, ельник ставили, перед воротами ждут посла. Вывела княгиня князя за собой и во те во подвалы, погребы, молвила словечко тихохонько: «Ни о чем ты, осударь, не печалуйся: а не быть тому грозному послу Василию Ивановичу — быть Ставровой молодой жене Василисе Микулишне: знаю я приметы по-женскому: *она по двору идет, будто уточка плышет, а по горенке идет — частенько ступает, а на лавицу садится — коленки жмет; а и ручки беленьки, пальчики тоненьки, дюжиня из перстов не вышли все (??)*». ² Втапоры князь употчивал посла допьяна, хочет его проведати, вызывает его боротися с семью богатырями, и того посол Василий не пятится, вышел он на двор боротися: первому борцу из плеча руку выдернет, а другому борцу ногу выломит, она третьегохватила поперек хребта, ушибла его среди двора. *А плюнул князь, да и прочь пошел*: «Глупая княгиня, неразумная! У тя волосы долги, ум короток: называешь ты богатыря женщиною — такого посла у нас не было еще и видано». А княгиня стоит на своем; втапоры князь опять посла проведает, вызывает его из туга лука стрелять со своими могучими богатырями. От тех стрелочек каленых и от той стрельбы богатырския только сырой дуб шатается, будто от погоды сильныя. Посол от лука отказывался, есть-де у меня лучонко волокитный, с которым я езжу по чисту полю. Кинулися ее добры молодцы, под первый рог несут пять человек, под другой — столько же, а колчан каленых стрел тащат тридцать человек. Вытягала она лук за ухо, хлестнет по сыру дубу, изломила его в черенья ножовые, и Владимир-князь окорачь напозался, и все тут могучие богатыри встают, как угорелые.

Плюнул Владимир-князь, сам прочь пошел, говорил себе таково слово: «Разве сам Василья посла проведает». Стал с ним в шахматы играть, три заступи заступовали и три заступи посол поиграл, и стал требовать дани, выходы, невыплаты. Говорит Владимир-князь: «Изволь меня, посол, взять головой с женой». Посол спросил князя: «Нет ли у тебя кому в гусли поиграть?» Втапоры Владимир спохватился, велел расковать и привести Ставра боярина; втапоры посол скочил на резвы ноги, посадил Ставра против себя в дубову скамью. И зачал тут Ставр поигрывать: *сыгрыш сыграл Царяграда, танцы навел Иерусалима, величал князя со княгинею, сверх того играл еврейской стих*. Посол задремал и спать захотел, отказывался от даней, выходов и просил себе только *весела молодца*, Ставра боярина Годиновича; и поехал с ним ко Днепр-реке, во свой бел шатер, а князь провожал его со княгинею. Говорил посол таково слово: «Пожалуй-де, осударь, Владимир-князь, посиди до того часу, как я выплюю». Раздевался посол из своего платья посольского, и убирался в платье женское, притом говорил таково слово: «Гой еси, Ставр, весел молодец! Как ты меня не опознаешь? А доселева мы с тобою в свайку игравали, у тебя ли была свайка серебряная, а у меня кольцо позолоченное, и ты меня поигрывал, — и я тебе толды, вселды». И втапоры Ставр боярин догадается, скидывал платье черное, и надевал на себя посольское; и с великим князем и со княгинею прощалися, отъезжали в свою землю дальнюю.

Теперь нам остается проститься с ласковым Владимиром Красным солнышком и со княгинею Апраксеевною: в поэме, которой содержание мы готовимся изложить, они являются в последний раз — Владимир мсльком, Апраксеевна — героинею, во всем апоетеозе своей женственности, грациозности и нравственности.

Сорок калик со каликою шли на поклонение в Иерусалим из пустыни Ефимьевы, из монастыря Боголюбова, выбрали они себе большого атамана, молода *Касьяна сына Михайловича*, и положили они заповедь великую: ¹ кто что украдет или пустится на женский блуд, да не скажет атаману, того закопать по плечи в сыру землю и во чистом поле одного оставить. Под Киевом они встретились со Владимиром-князем, а он, князь, охотился; завидели его калики перехожие, становилися во един круг, клюки, посохи в землю потыкали, а и сумочки исповесили, кричат калики зычным голосом, дрогнет матушка сыра земля, с дерев вершины попадали, под князем конь окарачил-ся, а богатыри с коней попадали, а Спирия стал поспиривати, а Сёма стал посёмывати, они-то ему, князю Владимиру, поклонилися, прошают у него милостыню великую, а и чем бы

молодцам душа спасти. Князь оговаривается, что с ним на охоте ничего нету и посылает их во Киев-град, ко душе княгине Апраксеевне, *честна роду дочь королевична*, напоит, накормит она молодых, наделит всем в дорогу золота, серебра. Пришли калики, рывкнули, с теремов верхи попадали, а с горниц охлопья попадали, в погребах питья всколебались; становились во един круг, просят милостыню великую у молодой княгини Апраксеевны. Молода княгиня испужалася, а и больно она передрогнула, звала калик во gridsни светлые; молодая княгиня Апраксеевна, поджав ручки будто турчаночки, со своими нянюшки и мамушки, со красными санными девушкой; молодой Касьян сын Михайлович садился на место большого; от лица его молодого, как бы от солнышка от красного, лучи стоят великие. После пиру хотят они калики во путь идти, а у молодой княгини Апраксеевны не то на уме, не то в разуме; шлет она Алёшу Поповича атамана их уговаривати, чтоб не идти им сего дня и сего числа; зовет он, Алёша, Касьяна Михайловича ко княгине Апраксеевне на долгие вечера посидети, забавны речи побавити, а сидеть бы наедине во спальне с ней. Замутилось его сердце молодецкое — отказал он Алёше Поповичу. На то княгиня осердилася, велела Алёше прорезать у Касьяна суму рыта бархата, записать бы чарочку серебряну. Когда калики ушли, княгиня посылает Алёшу в погонь за ними, у Алёши вежество нерожденное, он стал с каликами задорити, обличает ворами, разбойниками; не давалися калики в обыск ему, поворчал Алёша и назад поехал. Втапору Владимир-князь приехал в Киев-град, со Добрынею Никитичем. Молодая княгиня Апраксеевна посылала Добрыню Никитича в погонь за Касьяном Михайловичем; у Добрыни вежество рожденное и ученое — настиг он калик во чистом поле, сскачил с коня, сам челом бьет: «Гой еси, Касьян Михайлович! Не наведи гнева¹ на князя Владимира, прикажи обыскать калики перехожие, *нет ли промежу вас глуного*». Нигде-то чарочка не явилася, у молодая Касьяна пригодилася. Закопали атамана по плеча во сыру землю, единая оставили во чистом поле. Калики во путь пошли, а Добрыня в Киев с тою чарочкой серебряною. А с того время, часу захворала скорбью недоброю, слегла княгиня в великое во гноище. Сходили калики в Иерусалим-град, святой святыне помолитися, господню гробу приложилися, во Ердане-реке искупалися, нетленною ризою утиралися. На дороге назад увидели молодая Касьяна; он ручкой машет, голосом кричит, подает он Касьян ручку правую, а они-то к ручке приложилися, с ним поцеловалися. Молодой Касьян выскакивал из сырой земли, как ясен сокол из тепла гнезда, а все они, молодцы, дивуются на его лицо молодецкое, а и кудри на нем молодецкие до самого пояса: стоял Касьян в земле шесть месяцев. Пришедши в Киев,

ко дворцу, стоят они калики потихохоньку. Касьян посылает *легкого молодчика* доложить князю Владимиру: прикажет ли идти нам пообедати; князь послал им поклонитися и звать их. Касьян спрашивает князя о княгине; князь едва речи выговорил: «Мы-де уже неделю другу не ходим к ней». Молодой Касьян тому не брезгует, пошел со князем во спальню к ней, а и князь идет, свой нос зажал, молодую Касьяну то ничто ему, никакого духу он не верует. Втапору княгиня прощалася, что нанесла речь напрасную. Молодой Касьян, сын Михайлович, а и дунул духом святым своим на младую княгиню Апраксеевну — не стало у ней того духу, пропасти, оградил ее святой рукой, прощает ее плоть женскую, захотелось ей — пострадала она, лежала в сраму полгода. Затем пошел пир горой, калики во путь наряжаются, а Владимир-князь убивается. Молодая княгиня Апраксеевна вышла из кожуха, как из пропасти; тут же к ним ко столу пришла, молодую Касьяну поклоняется без стыда, без сорому, а грех свой на уме держит. Калики с Касьяном собрались и во путь пошли; до своего монастыря Боголюбова и до пустыни Ефимьевы.

Эта поэма носит на себе характер легенды и замечательна по противоречию тона первой половины своей с тоном последней: там калики — сущие ярыги, орут, рывкают, просят милостыню; тут они — если не грациозны и мужиковаты, зато кротки и очестливы. В Касьяне выражена идея человека, освятившегося страданием неправого наказания; в его великодушном поступке с Апраксеевною есть что-то умиряющее душу. Только одна Апраксеевна осталась в своем прежнем характере: молодую Касьяну поклоняется без стыда, без сорому, а грех свой на уме держит...

По саду, саду, по зеленому, ходила, гуляла молодая *княжна* Марфа Всеславьевна, она с камени скочила на лютого на змея — обвивается лютый змей около чобота зелен сафьян, около чучлика шелкова, *хоботом* бьет по белу стегну. А втапору *княгиня* понос понесла, а понос понесла и дитя родила; а на небе просветя светел месяц, а в Киеве родился могуч богатырь, как бы молодой Волх Всеславьевич: подрожала сыра земля, сотряслось славно царство Индийское, а и сине море сколебалось для ради рожденья богатырского молодая Волх Всеславьевича: рыба пошла в морскую глубину, птица полетела высоко в небеса, туры да олени за горы пошли, зайцы, лисицы по чащам, а волки, медведи по ельникам, соболи и куницы по островам...

Это начало поэмы есть высочайший зенит, крайняя апогея, до какой только достигает наша народная поэзия; это апофеоза-

богатырского рождения, полная величия, силы и того размашистого чувства, которому море по колено и которое есть исключительное достояние русского народа. Мы не будем пересказывать всей этой поэмы, потому что не найдем в ней, как и в прежних, никакого определенного идеала народной фантазии. По-прежнему это — *что-то*, которое силится стать образом, и всё остается символом, сквозь произвольную и узорочную ткань которого брезжится, как искра во тьме, призрак мысли, но никак не может разгореться в светлое пламя. Волх — и богатырь и колдун; оборотившись горностаем, он сбегал в царство Индийское, «у тугих луков тетивки накусывал, у каленых стрел железцы повынимал, у того ружья, ведь у огненного кремья и шомполы повыдергивал, и всё он в землю закопывал».* Обернувшись ясным соколом, полетел к своей дружине хоробря, повел ее в царство Индийское — стена стоит; Волх оборотил своих молодцов мурашиками, велел им всех поголовно бить в царстве Индийском, и только на *семь* оставить по выбору семь тысяччи душечки красны девицы. Пришедши к царю индийскому, *Салтыку* Ставрुльевичу, говорил ему таково слово: «А и вас-то, царей, не быют, не казнят»; ухватя его, ударил о кирпичат пол, расшиб его в крохи И тут Волх сам царем на-сел, взявши царицу Азвяковну, молоду Елену Александровну, а и та его дружина хоробрая на тех девицах переженилися.

Вообще, идеал русского богатыря — физическая сила, торжествующая над всеми препятствиями, даже над здравым смыслом. Коли уж богатырь — ему всё возможно, и против него ничто не устоит; об стену лбом ударится — стена валится, а на лбу и шишки нет. Героизм есть первый момент пробуждающегося народного сознания жизни, а дикая животная сила, сила железного кулака и чугунного черепа есть первый момент народного сознания героизма. Оттого у всех народов богатыри целых быков съедают, баранами закусывают, а бочками сороковыми зашивают. Но народ, в жизни которого развивается *общее*, идет далее, и просветление животной силы чувством долга, правды и доблести есть второй момент его сознания героизма. Наши народные песнопения остановились на первом моменте и дальше не пошли. И потому наши богатыри — тени, призраки, миражи, а не образы, не характеры, не идеалы определенные. У них нет никаких понятий о доблести и долге, им всякая служба хороша, для них всякая удаля — подвиг; и целое войско побить и конем потоптать, и единым духом выпить полтора ведра зелена вина и турвий рог меду сладкого в полтретья ведра, и настрелять к княженицкому столу гусей, белых лебедей, перелетных малых серых уток, и столыничать и приворотничать...

* Позднейшая прибавка и, вероятно, самого Кирши Данилова.

А между тем и в этих неопределенных, диких и безобразных образах есть уже начало духовности, которой недоставало только исторической жизни, идеального развития, чтобы высвиться до мысли и возрасти до определенных образов, до полных и прозрачных идеалов: мы разумеем эту отвагу, эту удалю, этот широкий размах души, которому море по колено, для которого и радость и горе — равно торжество, которое на огне не горит, на воде не тонет, этот убийственный сарказм, эту простодушно-язвительную иронию над жизнью, над собственной и чужою удалю, над собственной и чужою бедою, эту способность не торопясь, не задыхаясь, воспользоваться удачею и так же точно поплатиться и счастьем и жизнью, эту несокрушимую мощь и крепость духа, которые — повторяем — есть как бы исключительное достояние русской природы. Русская поэзия, как и русская жизнь (ибо в народе жизнь и поэзия — одно), до Петра Великого есть тело, полное избытком органической жизни, крепкое, здоровое, могучее, вполне способное, вполне достойное быть сосудом необъятно великой души, но — лишенное этой души и только ожидающее, ищущее ее... Петр вдунул в него душу живую — и замирает дух при мысли о необъятно великой судьбе, ожидающей народ Петра...

Собирался царь Саул Леонидович за сине море, в дальнюю орду, в половецку землю — брать дани и невыплаты; прощался он с царицей на двенадцать лет, оставлял ее черевосту и наказывал: буде дочь родится — воспоить, вскормить, замуж отдать, а любимого зятя за ним послать; а буде сын родится — воспоить, вскормить и за ним послать. Родился у царицы сын Константинущко, растет не по дням, по часам, а который *ребенок двадцати годов*, он, Константинущко, семи годков. Присадила его матушка учиться, скоро ему грамота далася и писать научился. Стал он, Константинущко, по улицам похаживати, стал с ребятами шутку шутить с усатыми, боролатыми, он шутку шутит не по-ребячью, а *творки творил не по маленьким*: которого возьмет за руку, из плеча тому руку выломит; и которого заденет за ногу, по ногу оторвет прочь; и которого хватит поперек хребта, тот кричит, ревет, окорач ползет, без головы домой придет. Князя, бояра дивуются, и все купцы богатые: а что это у нас за урод растет, что это у нас за? Стали на него царице жалобу творить, а царица стала его журить, бранить, а журить, бранить — на ум учить смиренно жить.

(Он спрашивает у матери, есть ли у него батюшка; мать рассказывает ему всё дело; много царевич не спрашивает: вышел на крылечко, закричал коня оседлать — да и был таков. На пути он перебил войско татарское — царя *Кунгура Самородовича*).

И поехал Константинуска ко городу Угличу; он бегаёт, скачет по чисту полю, *хоботы* метал по темным лесам, спрашивает себе сопротивника, сильна могуча богатыря, с кем побиться, подражаться и поратиться. А углички мужики были лукавые: город Углич крепко заперли, а сами со стены Константинуска обманывают: «Гой еси, удалой молодец! Поезжай ты под стену белокаменну, а и нету у нас царя в Орде, короля в Литве, мы тебя поставим царем в Орду, королем в Литву». У Константинуски умок молодёшенек, зеленёшенек — сдавался на их слова перелестные: подъезжал он под стену, а мужики углички крюки да багры закинули и его, молодца, и с конем подымали на стену высокую; связали да и засадили в погребку глубокие, запирали дверями железными, засыпали хрящом, пески мелкими. Царь Саул воротился в свое царство Алыберское, узнал в чем дело, поскакал в Углич, а те же мужики углички, *извозчики*, с ним ехавши, рассказывают, какого молодца засадили, и приметы его поведают.¹ Царь упрекает их, что не спросили ни дядины, ни отчины и посадили в подвалы глубокие — а он-де у Кунгура не мало силы перебил — можно за то вам его благодарити и пожаловати. Когда Саулу выдали его сына, он спросил *запленного мастера* и приказал главных мужиков в Угличе казнити и вешати. Приехал Саул с сыном домой — не пива у царя варить, не вина курить, пир пошел на радостях.

Следующая песня отличается каким-то поэтически унылым тоном. Содержание ее состоит в том, что добрый молодец, переехав через реку Сомородину, похаял ее; река провещила ему человеческим голосом, как бы душою красной девицей, что он забыл на том берегу два ножа булатные; когда он вновь переправлялся, река Сомородина потопила его, отвечая на его мольбы, что не она топит его, *молодца безвременного*, а топит-де тебя похвальба твоя, пагуба. Вот начало этой наивной и грустной песни:

Когда было молодцу пора, время великое, честь-хвала молодецкая: господь бог миловал, государь царь жаловал, отец, мать молодца у себя во любви держал, а и род, племя на молодца не могут насмотреться, соседи, ближние почитают и жалуют; друзья и товарищи на совет съезжаются, совету советывать, крепку думушку думати они про службу царскую и службу воинскую. Скатиалась ягодка с сахарного деревца, отломилась веточка от кудрявыя от яблоня: отстает добрый молодец от отца, сын от матери; а ныне уж молодцу безвременье великое: господь бог прогневался, государь царь гнев возложил, отец и мать молодца у себя не в любви держат, а и род, племя молодца не могут и видети; соседи ближние не чтут, не жалуют, а друзья и товарищи на совет не съезжаются.² А ныне уж молодцу кручина великая и печаль немалая. Со кручины-де молодец, со печали великия, пошел он на свой на коюшеный двор, брал добрый молодец оа добра коня стоялого, поехал добрый молодец на чужу, дальнюю сторону.

Как гармонирует грустное окончание этой поэмы с ее грустным началом!

И вот мы кончили весь цикл собственно богатырский сказок, чуждых всякого исторического значения. Теперь нам следует приступить к лучшему, благоуханнейшему цветку народных поэм — поэм Великого Новгорода, этого источника русской народности, откуда вышел весь быт русской жизни. Новгородских поэм немного — всего четыре; но эти четыре стоят всех, как по преимущественно поэтическому достоинству, так и по субстанциальности своего содержания. Они — ключ к объяснению всей народной русской поэзии, равно как и к объяснению характера быта русского. После них мы приступим к обозрению сказок собственно, потом к песням историческим, казачьим, разбойничьим, а наконец уже к семейным и обрядным; всё это сделаем мы в четвертой и последней нашей статье, которую, по недостатку места и значительной величине настоящей статьи, отлагаем до следующей книжки «Отечественных записок». Мы уверены, что высокий интерес предмета нашей статьи — русская народная поэзия, на которую доселе еще не обращалось должного внимания, — извинит в глазах читателей нашу невольную отсрочку окончания статьи.

СТАТЬЯ IV-я и ПОСЛЕДНЯЯ.¹

Цикл новгородских поэм очень не обширен: их всего четыре. Две из них посвящены одному герою, другие две — другому герою; следовательно, четыре поэмы воспевают только двух героев. Бедность поразительная! Но, вникнув в их дух и содержание, мы увидим, что перед нами бедна вся остальная сказочная поэзия русская; увидим мир новый и особый, служивший источником форм и самого духа русской жизни, а следовательно, и русской поэзии. Новгород был прототипом русской цивилизации и вообще форм общественной и семейной жизни древней Руси. Всё это яснее можно видеть из новгородских поэм, почему и приступаем немедленно к изложению их содержания, которое должно снабдить нас данными для суждений и выводов.

Во славном великом Новеграде, а и жил Буслай до девяности лет, с *Новым городом жил, не перечился, со мужики новгородскими попереки словечка не говаривал*. Живучи Буслай состарелся, состарелся и преставился; после его веку долгого оставалось его житье-бытье и всё имение дворянское; оставалась матера вдова *Амелфа Тимофеевна* и оставалось чадо милое — молодой сын *Василий Буслаевич*. Будет Василишка семи годов, отдавала матушка родимая учить его во грамоте, — а грамота

ему в наук пошла; присадила пером его писать, — письмо Василью в наук пошло; отдавала петью учить церковному, — петье Василью в наук пошло. А и нет у нас такого певца во славном Новгороде супротив Василья Буслаева. Повадилса ведь *Васька* Буслаевич со пьяницы, с безумницы, с веселыми удалыми добры молодцы, допьяна уж стал напиватися, — а и ходя в городе уродует: которого возьмет он за руку, из плеча тому руку выдернет; которого заденет за ногу, то из ногу выломит; которого хватит поперек хребта, тот кричит, ревет, окарач ползет. Пошла-то жалоба великая: а и мужики новгородские, *посадские, богатые*, приносили жалобу великую матерой вдове Амелфе Тимофеевне на того на Василья Буслаева. А и мать-то стала его журить, бранить, журить, бранить, его на ум учить, — журьба Ваське не взлюбилася; пошел он, Васька, во высок терем, садился на ременчат стул, писал ярлыки скорописчаты — от мудрости слово поставлено: «Кто хочет пить и есть из готового, валися к Ваське на широкий двор — пей и ешь готовое и носи платье разноцветное». А втапоры поставил Васька чан среди двора, наливал чан полон зелена вина, опушал он чару в полтора ведра. Во славном было во Новеграде, грамотны люди шли, прочитали те ярлыки скорописчаты, пошли к Ваське на широкий двор, к тому чалу, зелену вину. Вначале был Костя Новоторженин: Василий тут его опробовал — стал его бити по буйной голове червленым вязом во двенадцать пуд: *стоит тут Костя не шевельнитса, и на буйной голове кудри не тряхнутса*. И назвал Васька его, Костю, своим братом названным — паче брата родимого. А и мало время позамешкавши, пришли Лука и Моисей — дети боярские, а Василий молодой, сын Буслаевич, тем молодцам стал радощен и веселешенек. Пришли тут мужики *Залешана (?)* — и не смел Васька показатися к ним. Еще тут пришло семь братьев *Сбродовичи* — собиралися, сходилися тридцать молодцов без единого, — он сам Василий тридцатой стал. Какой зайдет — убьют его, убьют его, за ворота бросят. Послышал Василья: у мужиков новгородских *канун варен, пива ячные*: пошел Василий со дружиною, пришел во *братчину в Никольщину*. «Не малу мы тебе *сылъ (?)*¹ платим: за всякого брата по пяти рублев». А и тот-то *староста церковный* принимал их во братчину в Никольщину; а и зачали они тут канун варен пить, а и те-то пива ячные.

(Васька и его молодцы бросаются на *царев кабака*, — и все они возвращаются в Никольщину *добре пьяны*).

А и будет день ко вечеру; от малого до старого начали уж ребята боротися, а в ином кругу в кулаки битися; от тое борьбы от ребячия, от того бою от кулачного началась драка великая; молодой Василий стал драку разнимать, а иной дурак зашел

с носка, его по уху оплел; а и тут Василий закричал громким голосом: «Гой еси ты, Костя Новоторженин, и Лука, Моисей, дети боярские! уже Ваську меня бьют».

Васькины молодцы пошли на выручку: много народу перебили до смерти, больше того переуродовали. Тогда Васька вызывает новгородских мужиков на великий заклад: «Науцаюсь-де я на весь Новгород битися, дратися, со всею дружиною хорабрую»; если возьмет сторона мужицкая, — Васька платит мужикам дани, выходы по смерть свою, на всякий год по три тысячи; буде же его сторона одолеет, — мужики платят ему такую же дань. И в том договоре руки они подписали. Василий Буслаев начал с своими молодцами одолевать противников; тогда мужики новгородские бросились с дорогими подарками к Васькиной матушке: «Уйми-де свое чадо милое, Василья Буслаевича». Тут является на сцену совершенно новое и до крайности странное лицо — *девушка чернавушка*; по приказанию Амелфы Тимофеевны, прибежала *девушка чернавушка*, сохватила Ваську за белы руки, *притащила* его ко матушке на широкий двор; а и та старуха неразмышлена посадила его в погреба глубокие, затворяла дверьми железными, запирала замки булатными. Между тем дружина Васькина бьется с утра до вечера — и ей становится уж не в мочь; увидев *девушку чернавушку*, пошедшую на Волхов за водою, молодцы взмолилися ей: «Не подай нас у дела ратного, у того часу смертного». И тут *девушка чернавушка* бросала она ведро *кленовое*, брала коромысло *кипарисово*; коромыслом тем стала она помаживати по тем мужикам новгородским; перебила уж много до смерти; и тут девка запыхалася, побежала к Василью Буслаеву, срывала замки булатные, отворяла двери железные: «А и спишь ли, Василий, или так лежишь? Твою дружину хорабрую мужики новгородские всех перебили, переранили, булавами буйны головы пробиваны». Ото сна Василий пробуждается, он выскочил на широкий двор, — не попала палица железная, что попала ось тележная, — побежал Василий по Новугороду, по тем по широким улицам; стоит тут *старец пилигримища*, на могучих плечах держит колокол, а весом тот колокол во триста пуд; кричит тот старец пилигримища: «А стой ты, Васька, не попархивай, молодой глудыр, не по-летьвай; из Волхова воды не выпити, в Новеграде людей не выбити; есть молодцов *сопротивя тебя, стоим мы, молодцы, не хвастаем*». Говорил Василий таково слово: «А и гой еси, старец пилигримища! А и бился я о велик заклад со мужики новгородскими, *опричь почестного монастыря, опричь тебя, старца пилигримища; во задор войду — тебя убью!*» Ударил он старца во колокол а и той-то осью тележною, — качается старец, не шевельнитса; заглянул он, Василий, старца под колоко-

лом, а и во лбе глаз — уж веку нету! Пошел молодец по Волхреке, завидели добрые молодцы молодца Василья Буслаева, — у ясных соколов крылья стресли, у них-то, молодцов, думушки прибыло.

Мужики новгородские побиты — они покорились и помирились; насыпали чашу чистого серебра, а другую — чистого золота; пошли ко двору дворянскому, к матерой вдове Амелфе Тимофеевне, бьют челом, поклоняются: «Осударыня матушка, принимай ты дороги подарочки, а уйми свое чадо милос, молодца Василья со дружиною; а и рады мы платить на всякой год по три тысячи, на всякой год будем носить: с хлебников по хлебику, с калачников — по калачику, с молодцов — повенечное, с девиц — повалешное, со всех людей со ремесленных, *опричь попов и дяконов*».

Амелфа Тимофеевна посылает девушку чернавушку привести Василья с дружиною; бежавши та девка запыхалася, нельзя пройти девке по улице, что *полтеи* (?)¹ по улице валяются тех мужиков новгородских. Прибежала девушка чернавушка, сох ватала Василья за белы руки, а стала ему рассказывать, что-де мужики новгородские принесли к его матушке дороги подарочки и записи крепкие. Повела девка Василья со дружиною на тот на широкий двор, привела-то их к зеленой вину, а сели они, молодцы, во единый круг, выпили ведь по чарочке зелена вина, со того уразу молодецкого от мужиков новгородских. Вскричат тут ребята зычным голосом: «У *мота* и у *ляницы*, у младца Васюшки Буслаевича, не ушито, не уедено, вкрасне хорошо не ухожено, а цветного платья не уношено, а увече на век залезено». И повел их Василий обедати к матерой вдове Амелфе Тимофеевне; втапору мужики новгородские приносили Василью подарочки, вдруг *сто тысячей*, — и затем у них мирова пошла; а и мужики новгородские покорились и сами поклонились.

Не говоря уже о том, что в этой поэме очень много — по крайней мере, сравнительно с прежними — поэзии и силы в выражении, — в ней есть еще не только мысль, но и что-то похожее на идею. Эту поэму должно понимать как мифическое выражение исторического значения и гражданственности Новгорода. История Новгорода не могла дать содержания для чисто исторической поэмы; или, лучше сказать, государственная идея Новгорода не могла выразиться в исторически-поэтической форме и по необходимости должна была ограничиться смутными, неопределенными и дикими мифическими полубобразами, очерками и намеками. Точность и определенность есть одно из главных и необходимейших качеств и условий истинной поэзии; но это качество (точность и определенность) зависит от одного

содержания: чем содержание существеннее, действительнее, субстанциальнее, тем и форма точнее и определеннее, образы яснее, живее и полнее. Всякая народная поэзия начинается мифами; но и мифы могут иметь свою ясность, определенность и, так сказать, прозрачность: только для этого необходимо, чтобы выражаемое ими содержание было *общечеловеческое* и заключало в себе возможность дальнейшего диалектического развития, а следовательно, и возможность служить содержанием для поэзии, развившейся и возросшей до своей апогеи — до художественности. Новгородская жизнь была *каким-то* зародышем *чего-то*, повидимому, важного; но она и осталась зародышем *чего-то*: чуждая движения и развития, она кончилась тем же, чем и началась — *чем-то*, а *что-то* никогда не может дать определенного содержания для поэзии и по необходимости должно ограничиться мифическими и аллегорическими полубобразами и намеками. Новгород, несомненно, был колонией Южной Руси, которая была первоначальной и коренной Русью.¹ Колонии народов, находящихся на низкой степени гражданственности, всегда бывают цивилизованнее своих метрополий: они состоят из самой предприимчивой части народа, которая, переселившись на новую почву и под новое небо, поневоле отрешается от ограниченности прежнего быта, открывает новые источники жизни, указываемые новой страной, и, удерживая много от духа прежней родины, много и изменяется в своем характере. Почва Новгорода бедная, болотистая, климат холодный; это обстоятельство, в соединении с соседством немцев, и направило поневоле деятельность новгородцев на торговлю: по невозможности быть земледельцами, они оторвались от общего славянского быта и сделались купцами; соседство же с немцами еще более способствовало развитию их предприимчивости. Но, сделавшись купеческим городом, Новгород отнюдь не сделался муниципальным городом, и новгородцы, сделавшись купцами, отнюдь не сделали гражданами торговой республики: у них не было цехов, не было определенного разделения классов, которые составляют основание торговых государств, не было ни малейшего понятия о праве личном, общественном, торговом. Там все были купцами случайно и торговали на авось да наудачу, по-азиатски. Дух европеизма всему определял значение, всему указывал место, всё силится освободить от случайности и поднести под общие, неизменные и определенные условия необходимости; всё подчинял системе; ремесло возвышал до искусства; из искусства делал науку. Ничего этого не было и тени в основах новгородской гражданской ответственности.² Внешние обстоятельства были причиною ее возникновения: внешние обстоятельства и довели ее. Бессилие разъединенной Руси дало Новгороду укреп-

питься, а соединение Руси в одну державу, без борьбы и особых усилий, ниспровергло его. И если бы Москва допустила существование Новгорода, — он пал бы сам собою и стал бы легкой добычей Польши или Швеции. Что не развивается, то не живет, а что не живет, то умирает: таков мировой закон всех гражданских обществ. В Новгороде не было зерна жизни, не было развития, а потому, повторяем, из него ничего не могло выйти, и он никогда не был органически-политическим обществом, у которого бы могла быть история, а следовательно, и поэзия.

Но, с другой стороны, нельзя не признать Новгорода весьма примечательным явлением, имевшим важное влияние даже на Московское царство. Торговля родила в Новгороде богатство, а богатство породило дух какого-то самодовольствия, приволья, удалства, отваги, молодечества. Вследствие этого, в Новгороде образовался род какой-то странной и оригинальной гражданственности; явилась аристократия богатства, с особенными формами жизни, своим церемониалом, своими общественными нравами и обычаями, своею общественною и семейною нравственностью. Всё это, вместе взятое, сделалось типом русского быта. Новгород был богат, силен и славен на Руси, в то время когда Русь была бедна и бессильна, когда в ней не было никакой общественности, никакой гражданственности, когда в ней было не до прохлады, не до роскоши, ни до удалства и разгула: ее терзали сперва междоусобия, потом татары. Теперь очень понятно, что Новгород для тогдашней Руси был тем же, чем теперь Париж для всей Европы. Новгород был городом аристократии, в смысле сословия, которое, много имея денег, много и тратило их на свои прихоти: аристократия без денег нигде и никогда не бывала, и если выскочек называют мещанами во дворянстве, то бедных аристократов должно называть дворянами в мещанстве. Богатство родит множество нужд и прихотей, страсть к удобству и уважение к приличию, и если оно не в состоянии возвысить души, от природы низкой, то всегда может смягчить внешнюю грубость, дать душе больший простор и полет в сфере житейского и общественного образования, потому что богатство освобождает человека от низких нужд, забот и работ жизни. И потому мы думаем, что русский этикет, свадебные и другие обряды образовались первоначально в Новгороде, и оттуда, вместе с венецианскими и немецкими товарами, разлились и распространились по всей Руси. Мы здесь разумеем собственно Северную Русь, бедную и грубую, центром которой был сперва Владимир, а после Москва. Северная Русь резко отделилась от Южной, превратившейся впоследствии в Малороссию; Червоная Русь, более близкая к Киевско-Черниговской, также не имела ничего обще-

го с Северною. Явно, что тип общественного быта Северной Руси образовался и развился в Новгороде. Лучшим доказательством этому могут служить все поэмы, в которых упоминается о великом князе Владимире и которые мы разбирали в предыдущей статье: в них нет ничего, принадлежащего и свойственного южно-русской поэзии, в них нет ничего общего ни в изобретении, ни в колорите с «Словом о полку Игоревом». Напротив, в них всё новгородское: и изобретение, и выражение, и тон, и колорит, и замашки, и, наконец, эти герои-богатыри из купцов, как *Иван Гостиный сын* и другие. «Василий Буслаев» явно новгородская поэма — в этом не может быть ни малейшего сомнения; но сличите вы эту поэму со всем циклом богатырских сказок времен Владимира, — и вы увидите, что как та, так и другие как будто бы сочинены одним и тем же лицом. Это показывает, что они все действительно сложены в Новгороде, — и богатырские сказки о *Владимире Красном солнышке* были ничем иным, как воспоминанием новгородца о своей прежней родине.

Изменившись и выродившись, из земледельца или ратника Южной Руси ставши новгородским купчиною, новгородец воскресил смутные предания о первобытной родине по идеалу современного ему быта своей новой и настоящей отчизны. И потому из предания он взял одни имена и некоторые смутные образы, — и *Владимир Красно солнышко* является у него таким же смутным воспоминанием, как и *Дунай сын Иванович*, берега которого тоже были некогда его отчизною. Но Дунай и остался в его песнях мифическим воспоминанием; а *Владимир великий князь киевский стольный* превратился в поэмах новгородца в какого-то купчину, гостя богатого, и по речам, и по манерам, и по складу ума. Оттого же и княгиня Апраксеевна, равно как и все героини киршевских поэм, так похожи на купчих: их иначе и нельзя представить, как в жемчугах, с повязанными головами, разбеленных, нарумяненных, с черными зубами и с чарами зелена вина в руках; *они по двору идут — будто уточки плывут, а по горенке идут — частенько ступают, а на лавицу садятся — коленцо жмут, — а и ручки беленьки, пальчики тоненьки, дюжина из перстов не вышли все...*

Но не по одному этому влиянию на Русь замечателен Новгород: он и сам по себе есть интересное явление с своим меньшим братом, Псковом. Это какой-то неразвившийся, но большой зародыш чего-то, какая-то неудавшаяся, но размашистая попытка на что-то. По преобладанию восточного элемента, все славянские народы являли собою одни зачатки жизни, которым не суждено было развиваться во что-нибудь действительно и определенное из самих себя, собственно самодельно, не принявши в себя общечеловеческих элементов европей-

ского духа. Повторяем: Новгород был не республикою, а скорее карикатурою на республику. Ничем нельзя так хорошо охарактеризовать Новгорода, как его же собственным прозвищем, простодушным и бессознательным, но метким и верным: *новгородская вольница*. Где нет права и закона, нет разившихся из жизни государственных постановлений, там нет и свободы, нет граждан, а есть вольность и *вольница*, которые, в отношении к личной безопасности и независимости индивидуумов, ничем не лучше азиатского деспотизма, если еще не хуже: известно, что вече великого господина Новгорода часто оканчивалось кровавым самоуправством невежественной черни, а спокойствие города нередко нарушалось самыми бессмысленными мятежами. В Новгороде не было представительности: толпа невежественная и дикая безусловно властвовала на вече. Но Новгород был богат и знал это; новгородцы были полны отваги и удали, и говорили: «Кто против бога и великого Новгорода!» Святая София была его покровительницею, и в ее храме хранилась грамота Ярослава. Новгородцы по своему любили Новгород и гордились им. Вечевой колокол, — символ их политического значения, был для них дорог, и рыдая провожали они его в Москву... Новгород не был государством, но в нем были зачатки государственной жизни, — и потому он был явлением неопределенным, странным, *чем-то* и в то же время *ничем*; это был инфузорий государственной жизни, но не государство. Проблескивало в его жизни что-то и размахистое и грандиозное, но только проблескивало и, мгновенно поразив зрение, тотчас же исчезало, подобно миражам и ночным блудящим огням...

Такова была историческая действительность Новгорода: такова и его поэзия: никакие летописи, никакие исторические изыскания не могут так верно выразить смутного его существования, как его поэзия. Начнем с «Василья Буслаева»: это — апофеоза Новгорода, столь же поэтическая, удалая, размахистая, сильная, могучая, и столь же неопределенная, дикая, безобразная, как и он сам. С самого начала поэмы вы видите существование в Новгороде двух сословий — аристократии и черни, которые не совсем в ладу между собою. Как бы в похвалу Буслаю, отцу Василья, говорится, что он «с Новым городом жил, не перечился, со мужики новгородскими поперец словечка не говаривал». Да и как не хвалить за это: из чего же и ссориться было сему благородному дворянину со мужики новгородскими? В Риме между патрициями и плебеями была вражда основательная и разумная: первые возикли и образовались из племени завоевателей, вторые — из племени побежденного и завоеванного: вот первый исходный пункт вражды двух сословий. Далее: патриции образовывали собою

правительственную корпорацию; в их руках была высшая государственная власть, они были полководцами и сенаторами, из них преимущественно выбирались консулы и диктаторы; вообще, сословие патрициев пользовалось большими правами, которые составляли часть коренных государственных законов, владели большими именьями: а народ был беден и правами и полями, ему предоставлено было только лить кровь за отечество и повиноваться его законам. Наконец: патриций считал себя существом высшим плебея и гнушался вступить с ним в родство или допустить его в свое общество. Патриций оскорблял плебея и самым превосходством своим в образовании. Всё это поддерживало борьбу, бывшую живоначальным источником римской истории и причиною ее колоссального и грандиозного развития. Но в Новгороде дворянам и боярам не из чего было перечиться с мужиками, а мужикам не из чего было враждовать против дворян и бояр: при равенстве прав, или совершенном отсутствии прав с той и другой стороны, и при равенстве образования, или при совершенном отсутствии всякого образования с той и другой стороны, там только бедный мог завидовать богатому, а не мужик дворянину, ибо там и мужик мог быть богаче боярина и потому больше его иметь весу на вольном вече. Но тут была бессмысленная боярская спесь, которая основывалась не на превосходстве образования, общественного или умственного, не на праве заслуги, а на пергаментных грамотах; спесь с одной стороны вызывала вражду с другой; а как неважные причины и родят неважные следствия, то вражда и разрешалась кулачными боями и телесным увечьем. Василий Буслаев есть представитель аристократической партии в Новгороде: он человек превосходно образованный — умеет читать, писать и петь: чего же больше?.. Повадился он со пьяницы; с безумницы; но быть молодцу не укора, тем более, что общественная нравственность Новгорода отнюдь не презирала этих господ, ибо они были не только пьяницы, безумницы, но и «веселые, удалые *добры молодцы*». Костя Новоторженин должен быть не из дворян, а из купчин; выдержав экзамен Васьки, т. е. удар по голове червленым вязом во двенадцать пуд, он делается его братом названным: вот вам и символ единства и родства высшего и низшего сословий в политической организации Новгорода! Лука и Моисей — два боярченка; Василий особенно «стал радощен и веселёшенек» их приходу: это своя братия — аристократы... Но что за мужики Залешана, не раз упоминаемые в киршевских поэмах — неизвестно; и почему Васька, никого не трусивший, не посмел им показаться, хотя они и пришли к нему на двор, где он беседовал за чаном зелена вина с своею ватагою, — тоже темно и неопределенно. Не менее загадочны и братья Збродовичи, не раз упоминавшиеся и в преж-

них поэмах: о них, как и о мужиках Залешана, можно сказать с достоверностью только то, что они — новгородцы. Что за братчина Никольщина, где на складчину пьют канун варен и пива ячные — тоже загадка.¹ Драка началась не из ссоры: побывавши в кабаке, молодцы Василья начали «боротися, а в ином кругу в кулаки битися», начали во здравие, а свели за упокой, по русскому обычаю: следовательно, не вражда между сословиями, а то, что руки расчесались и плечи расхотелись, произвело нецивилизованную драку. Вызов Васьки мужиков новгородских на бой с его дружиною о велик заклад прокрасно характеризует новгородскую удаль и молодечество; в его условиях с ними, к которому были «подписаны руки» с обеих сторон, промелькивает коммерческая цивилизация Новагорода. В жалобе мужиков матери Васьки и скорой расправе матери с сыном вполне выражается патриархально-семейное основание гражданского быта того времени, а «дороги подарочки», представленные матерью вдове Амелфе Тимофеевне при жалобе на сына, показывают ясно, что и в новгородской республике без «подарочков» никакая просьба не обходилась. *Девушка чернавушка* упоминается и в некоторых других русских сказках; следовательно, она должна иметь какое-нибудь значение; но какое именно — нельзя понять. Для нас эта *девушка чернавушка*, которая хватает Ваську за белые руки и, как ребенка, тащит его в погреб глубокие, а потом кипарисовым коромыслом побивает мужиков новгородских, сшибает замки булатные, ломает двери железные и освобождает Василья, — для нас она не имеет никакого смысла. Замечательно, что эта *девушка чернавушка* явно держит сторону Василья и его молодцов, и только в качестве служанки его матери, обязанной повиноваться своей госпоже, действует она против Василья. Встреча освобожденного из подвала Василья с старцем пилигримом есть лучшее место в поэме. Этот старец пилигрим есть поэтическая апофеоза Новагорода, поэтический символ его государственности. Старец держит на своих могучих плечах колокол в триста пуд; он холодно и спокойно, как голос уверенного в себе государственного достоинства, останавливает рьяность Буслаева: «Из Волхова воды не выпити, в Новегороде людей не выбити: есть молодцов супротив тебя, стоим мы, молодцы, не хвастаем». В ответе Василья видны привилегии духовного сословия и уважение Буслаева к идее Новагорода, однако же побеждаемое неукротимой рьяностью его молодечества: «Бился я о велик заклад со мужики новгородскими, опричь почестного монастыря, опричь тебя старца пилигримица; во задор войду — и тебя убью!» Васька ударяет тележною осью по голове старца: *качается старец, не шевельнется; заглянул он, Василий, старца под колоколом: а и во лбе глаз —*

уж веку нету... Хоть слова *качается* и *не шевельнется* и кажутся противоречием друг другу, однако в них нет противоречия, а только неточность выражения: слово *качается* должно относиться к колоколу, а *не шевельнется* — к старцу, образу Новагорода. А и во лбе глаз — *уж веку нету* — указывает на мистическую древность исторического существования Новагорода. Вообще, этот образ Новагорода дышит какою-то грандиозностью, сплюю и поэзией; но в то же время он странен, дик, неопределенен, — словом: самый верный портрет исторического Новагорода, поэтический инфузорий, огромный взмах без удара...

Теперь мы dokonчим историю *мота* и *пьяницы*, молода Василья Буслаевича, пересказав содержание другой новгородской поэмы, представляющей Буслаева в новом положении.

Под *славным, великим* Новым городом, по славному озеру по! Ильмену плавает, поплавает сер селезень, как бы ярый гоголь поныривает: а плавает, поплавает червлен корабль как бы молода Василья Буслаевича со его дружиною хораброю: Костя Никитин корму держит, маленькой Потаня на носу стоит, а Василий-то по кораблю похаживает, таковы слова поговаривает: «Свет, моя дружина хорабрая, тридцать удалых добрых молодцов! Ставьте корабль поперек Ильменя, приставайте, молодцы, ко Новугороду!»

Вышедши из корабля, Василий идет к своей матушке, матерой вдове Амелфе Тимофеевне, просит у нее благословения великого «идти в Ерусалим-град, господу помолитися, святой святыне приложитися, во Ердане-реке искупатися». Мать отвечает: «Коли ты пойдешь на добрые дела, тебе дам благословение великое; коли ты, дитя, на разбой пойдешь, и не дам благословения великого, а и не носи Василья сыра земля». Камень от огня разгорается, а булат от жару растопляется, материно сердце распушается; и дает она много свинцу, пороху, и дает Василью запасы хлебные, и дает оружие долгомерное. «Побереги ты, Василий, буйну голову свою».

Поехал Буслай со дружиною по Ильмену-озеру во Ерусалим-град; плывут они уже другую неделю (*какое огромное озеро!*..), встречу им гости корабельщики: «Здравствуй, Василий Буслаевич! Куда, молодец, поизволил погулять?» Отвечает Василий Буслаевич: «Гой еси вы, гости корабельщики! А мое-то ведь гулянье неохотное: *смолоду бито много, граблено, под старость надо душа спасти*; а скажите вы, молодцы, мне прямого пути ко святому граду Иерусалиму». Корабельщики отвечают, что если ехать прямым путем — то семь недель, а если окольную дорогою — полтора года, и что на славном Каспийском море, на Куминском острове, стоит застава крепкая —

атаманы козачие, не много не мало их — три тысячи, грабят бусы, *галеры* (?), разбивают червлены корабли. «А не верую я, Васинька, ни в сон, ни в чох, а и верую в свой червленный вяз; а бегите-ко вы, ребята, прямым путем». И завидя Буслаю гору высокую, скоро приставал ко круту бережку и походил на ту гору Сорочинскую, а за ним летит дружина хорабрая. Будет Василий в полугоре, попадаетея ему пуста голова, чловечья кость; пнул Василий тое голову с дороги прочь; провешится пуста голова чловеческая: «Гой еси, Василий Буслаевич! Ты к чему меня, голову, побрасыв ешь? Я молодец не хуже тебя был; умею я, молодец, валятися, — и где лежит пуста голова молодецкая, и будет лежать голове Васильевой». Плюнул Василий, прочь пошел: «Али, голова, в тебе враг говорит, или нечистый дух?»

На вершине горы, *на самой сопке*, стоит камень, на нем написано, что-де кто у камевя станет тешиться, забавлятися, вдоль скакать по камению — сломить будет буйну голову. Василий тому не верует, и стал с молодцами тешиться, забавлятися, поперек того камению поскакивати, *а вдоль-то его не смеют скакать*.

Наскакавшись вдоволь, молодцы едут далее и достигают заставы козачьей; и скочил-то Буслаю на крут бережок, червевым вязом подпирается. Атаманы сидят, не дивуются, сама говорят таково слово: «Стоим мы на острову тридцать лет, не видали страху великого: это-де идет Василий Буслаевич; знать-де полетка соколиная, видеть-де поступка молодецкая». Василий спрашивает их о пути в Ерусалим, а ови просят его «за единый стол хлеба кушати». Втапоры Василий ве ослушался, сажился с ними за единый стол, наливали ему чару зелена вина в полтора ведра, принимает Василий единой рукой и выпил чару единым духом, и только атаманы тому дивуются: а сами не могут и по полуведру пить. Когда Василий собрался в путь, атаманы дали ему козачие подарки свои: перву мису чиста серебра и другу красна золота, третью скатного жемчуга. Просит он у них до Ерусалима провожатого; тут атаманы Василью не отказали, дали ему молодца провожатого. По Каспийскому морю молодцы прибежали прямо во Ердань-реку и пошли в Ерусалим-город. Пришел Василий во перкву соборную, служил обедню за здравие матушки и за себя, Василья Буслаевича; и обедню с панихидою служил по родимом своем батюшке и по всему роду своему; на другой день служил обедни с молебнами про удалых добрых молодцов, *что смолоду бито много, граблено*. И ко святой святые приложился он, и в Ердане-реке искупался. И расплатился Василий с понами, с дяконами и которые старцы при церкви живут, дает золотой казны, не считаючи. Пошел он на червлен корабль, а дружина

его хорабрая купалися во Ердане-реке; приходила к ним *баба залесная* (!..), говорила таково слово: «Почто вы купаються во Ердане-реке? А некому купатися, опричь Василья Буслаевича, — во Ердане крестился сам господь Иисус Христос; потерять его вам будет большого атамана, Василья Буслаевича». И они говорят таково слово: «Наш Василий тому не верует ни в сон, ни в чох». И мало времени поизойдучи, пришел Василий ко дружини своей; выводили корабли из Ердань-реки, подняли тонки парусы полотняны, побежали по морю Каспийскому. У острова Куминского атаманы козачие Василью кланялись и «здорово ли съездил во Ерусалим-град?» его спрашивали. Много Василий не баит с ними, подал Василий письмо в руку им, что много трудов за их положил, служил обедни с молебнами за их молодцов. Едут молодцы неделю-другую, досхали до горы Сорочинской, и Василью вздумалось опять потешиться, позабавиться, несмотря на иторичное зловещее предсказание головы. Только на этот раз ему вздумалось поскакать *вдоль камени*; разбежался, скочил вдоль по камению, и не доскочил только четверти, и тут убился под камением. Где лежит пуста голова, там Василья схоронили. Приехав в Новгород, молодцы пошли к матерой вдове Амелфе Тимофеевне, прошли и поклонилися, всё письмо в руки подали; прочитала письмо матера вдова, сама заплакала, говорила таковы слова: «Гой вы еси, удалы добры молодцы! У меня ныне вам делати нечего; подите в подвалы глубокие, берите золотой казны, не считаючи». Девушка чернавушка сводила их в подвалы глубокие, брали они казны *по малу числу*, кланялись матерой вдове, что «поила, кормила, обувала и одевала добрых молодцов». Затем матера вдова велела девушке чернавушке наливать по чаре зелена вина, подвосить удалым добрым молодцам: они выпили, сами поклонилися и *пошли кому куда захотелся*.

Отпуская Буслаева, мать дает ему благословение только на добрые дела, а за разбой заклинает землю не носить его. Когда Василья корабельщики спрашивают о цели поездки, он отвечает: «А мне-то ведь гулянье неохотное: *смолоду бито много, граблено, под старость надо душа спасти*». Оставляя встороне странное понятие о возможности так легко сложить с себя кровавые преступления, обратим внимание на самые преступления. Это не был разбой в прямом смысле: разбойник тот, кого отвергло общество, или кто сам отвергся общества и принялся за нож, как за средство к существованию, и кто режет и грабит с полным сознанием преступности подобного промысла. Не таков наш Васинька Буслаевич: как ни важны его преступления, но они только шалости, плод невежественного понятия о моло-

дедкой удали и широком размете души. Такое дурное проявление бурного бушевания крови и неукротимой рьяности души есть порождение полудикой гражданственности, лишенной всякого духовного движения и развития. Сильная натура непременно требует для себя широкого, размашистого круга деятельности. И потому, лишенная нравственной сферы, она бешено и дико бросается в безумное упоение удалой жизни, разрывает, подобно паутине, слабую ткань общественной морали. В Риме сильная натура являлась в колоссальных образах Коклесов, Спевол, Кориоланов, Гракхов; в Новгороде она могла являться только в образе буйных и диких Буслаевичей и Костей Никитичей. Сама общественная нравственность того времени видела только молодечество и удалство в том, что в других странах было буйством и разбойничеством. Новгородцы целыми шайками отправлялись в Пермь и Вятку, резали, жгли и грабили по Каме. На них жаловались московским царям, — и они иногда являлись с повинною головой, как чересчур задурившиеся удалцы, а не как воры и разбойники. Их вызывала на подобные подвиги не бедность, не нищета, не разврат и кровожадность, а жажда какой бы то ни было деятельности, лишь *бы* сопряженной с опасностями, отвагою и удалью. Новгород можно смело назвать гнездом русской удали, и теперь составляющей отличительную черту характера русского народа, но уже такую черту, которая, благодаря успехам цивилизации, делает ему честь, а не бесчестье. Дурно направленная сила души дурно и действует, а хорошо направленная сила души хорошо и действует; но срам и горе народу, у которого нет того, что бы могло дурно или хорошо быть направляемо! И потому Васяка Буслаев, *мот* и *пьяница*, право был лучше многих тысяч людей, которые тихо и мирно прожили век свой: он был мотом и пьяницей от избытка душевного огня, лишенного истинной пищи; а те жили тихо и мирно по недостатку силы. Заметьте, что наш Буслаевич говорит слова: *смолоду бито много, граблено*, как будто мимоходом, без пояснений, без сентенций, без самообвинения и как будто с каким-то хвастовством; и можно поручиться, что гости-корабельщики выслушали их без удивления, без ужаса, но с тою улыбкою, с какою пожилой человек выслушивает любовные похождения юноши, вспоминая о своих собственных во время оно. Да и почему не пошалить, если поездка в Иерусалим могла загладить все шалости...

И Буслаевич поехал совсем не смиренным пилигримом: удалство и молодечество заглушают в нем всякое другое чувство, если только было что заглушить в нем... Узнав, что прямая дорога сопряжена с опасностью, он выбирает ее, говоря, что «не верует он, Васинька, ни в сон, ни в чох, а верует в свой червленый вяз». Не доезжая до козачьей заставы, он видит гору:

ему надо побывать на ней — а зачем? — да так, из удали. Рокковое предвещание мертвой головы и надпись на камне не только не отвращают его от безумного желания «тепиться, забавляться, поперек того камевю поскакивати», но вызывают на эту потеху. Что такое эта Сорочинская гора, мертвая голова и камень с надписью, и почему можно было скакать только поперек его, а не вдоль: всё это имеет смысл разве того пошлого мистицизма, который видит таинственное и глубокое во всем, что, за отсутствием здравого смысла, непонятно рассудку. Скачи поперек, а вдоль не скачи: это так нелепо и бессмысленно, что простому, неразвитому размышлением и наукою уму непременно должно было показаться необыкновенно таинственным и глубоко знаменательным, подобно мистическим числам — *три, семь, девять, двенадцать*, подобно молодому месяцу с левой стороны, зайцу, перебежавшему дорогу, и другим предрассудкам старых баб. Замечательно, впрочем, что, несмотря на прямой путь из Ильменя в Каспийское море, а из него прямо в реку Ердань, есть в поэме и признаки географической достоверности: на вершине Сорочивской горы находится сопка — явление, возможное на юго-западном берегу Каспийского моря.

Страх, а вследствие его и уважение, обнаруженные козаками к герою поэмы, указывают на славу Василья Буслаева, как удалца из удалцов, как человека, с которым плохи шутки. *Баба замесная*, предсказывающая гибель Василья купающейся в Ердане его дружине, — одно из тех чудовищных порождений лишенной всякого содержания фантазии, которыми особенно любит щеголять русская народная поэзия. Смерть Василья выходит прямо из его характера, удалого и буйного, который как бы напрашивается на беду и гибель. Слова матери Василья к его осиротелой дружине не отличаются особенною материнскою нежностью; однако видна истинная грусть по безвременно погибшем сыне в выражении: *у меня ныне вам делать нечего*. Есть также что-то глубоко грустное в умеренности молодцов Василья, которые «брали казны по малу числу»; они были и сильны, и могучи, и удалы, и веселы только с своим лихим предводителем, а без него — на что им и золота казна? При нем они составляли дружину и братчину, а без него — «пошли добры молодцы, кому куда захотелось»... Так бывает не в одних сказках, так бывает и в действительности: сильный и богатый дарами природы дух собирает вокруг себя кружок способных понимать его людей и соединяет их между собою союзом братства; но нет его — и осиротелый круг, лишенный своего центра, распадается сам собою...¹

Теперь мы должны перейти к другому герою, по преимуществу новгородскому. Это уже не богатырь, даже не силач и не уда-

лец в смысле забияки и человека, который никому и ничему не дает спуска, который, подобно Василье Буслаевичу, не верует ни в сон, ни в чох, а верует в свой червлёный вяз; это и не боярин, не дворянин: нет. это сила, удаль и богатство денежное, это аристократия богатства, приобретенного торговлею, — это купец, это апофеоза купеческого сословия.

По славной матушке Волге-реке а гулял Садко молодец тут двенадцать лет: никакой над собою притки и скорби Садко не видывал, а всё молодец во здоровьи пребывал. Захотелось молодцу побывать в Новгороде, отрезал хлеба великий сукрой, а и солью насолил, его в Волгу опустил: «А спасибо тебе, матушка Волга-река! А гулял я по тебе двенадцать лет, никакой я притки, скорби не видывал над собой и в добром здоровьи от тебя отошел; а иду я, молодец, в Новгород побывать». Проговорит ему matka Волга-река: «А и гой еси, удалой добрый молодец! Когда придешь ты во Новгород, а стань ты под башню проезжую, поклонися от меня брату моему а славному озеру Ильменю». Правил Садко Ильменю-озеру челобитье великое: «А и гой еси славный Ильмень-озеро! Сестра тебе Волга челобитье посылает двою» (?).¹ Приходил тут от Ильмень-озера удалой добрый молодец и спрашивал Садку: «Гой еси, с Волги удал молодец! Как-де ты Волгу-сестру знаешь мою?» А и тот молодец Садко ответ держит: «Что-де я гулял по Волге двенадцать лет, с вершины знаю и до устья ее, а и нижнего царства Астраханского». А и стал тот молодец наказывати, который послан от Ильмень-озера, чтобы Садко просил *бошлыков* закинуть в Ильмень три невода: будет-де ему, Садке, божья милость. Первый невод к берегу пришел: и тут в нем рыба белая, белая ведь рыба мелкая; и другой-то ведь невод к берегу пришел, в том-то рыба красная; а и третий невод к берегу пришел: а в том-то ведь рыба белая, белая рыба в три четверти. Перевозился Садко молодец на гостинный двор со тою рыбою ловленою, навалил² ею три погреба глубокие; запирал те погребы накрепко, ставил караул на гостинном на дворе, и давал тем бошлыкам за труды их сто рублей. А не ходит Садко на тот на гостинный двор по три дни, на четвертый день погулять захотел: заглянет он в первый погреб — котора была рыба мелкая, те-то ведь стали деньги дробные; заглянул он в другой погреб: где была рыба красная — очутились у Садки червонцы лежат; в третьем погребу, где была рыба белая — а и тут у Садки всё монеты лежат. Втапору Садко купец, богатый гость, сходил он на Ильмень-озеро, а бьет челом поклоняется: «Батюшко мой, Ильмень-озеро! Поучи меня жить в Новгороде». Ильмень дает ему совет поведаться со людьми со таможенными, да позвать молодцов посадских

людей, «а стаиут-де те знать и ведати». Позвал к себе Садко людей таможенных и стал водиться с людьми посадскими. Сходилися мужики новгородские у того ли Николы Можайского, во братчину Никольщину, пить канун, пива ячные; Садко бьет челом, поклоняется принять его во братчину Никольщину, сулит им заплатить *сыль* немалую и дает им пятьдесят рублей. Когда молодцы напивались допьяна, а и с хмелю тут Садко захвастался: велит припасать товаров во Новгороде, он-де те товары все выкупит, не оставит ни на денежку, ни на малу разну полушечку: а не то — заплатит казны им сто тысячей. И ходит Садко по Новгороду, выкупает все товары повольной ценой, не оставил ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Вложил бог желанье в ретиво сердце: а и шед Садко божий храм соорудил, а и во имя Стефана архидьякона: кресты, маковицы золотом золотил, он местны иконы изукрашивал, изукрашивал иконы, чистым жемчугом усадил, царские двери вызолачивал. На второй день он опять выкупил все товары в Новгороде и соорудил церковь во имя Софии премудрая. По третий день по Новгороду товару больше старого, всяких товаров заморских: он выкупил товары в половину дня и соорудил божий храм во имя Николы Можайского. А и ходит Садко по четвертый день, ходил Садко по Новгороду, а и целой день он до вечера, не нашел он товаров в Новгороде ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Зайдет Садко он во темный ряд, и стоят тут черепаны, гнилые горшки, а все горшки уже битые; *он сам Садко усмехается*, дает деньги за те горшки, сам говорит таково слово: «Пригодятся ребятам черепками играть, поминать Садку гостя богатого, *что не я, Садко, богат — богат Новгород всякими товарами заморскими и теми черепанами, гнилыми горшки!*»

В этой поэме ощутительно присутствие *идеи*: она есть поэтическая апофеоза Новгорода, как торговой общины. Садко выражает собою бесконечную силу, бесконечную удаль; но эта сила и удаль основаны на бесконечных денежных средствах, приобретение которых возможно только в торговой общине. Русский человек во всем удал и во всем любит хвастнуть своею удалью. У нас и теперь всякий проживает вдвое больше того, что получает: исключения редки. В этом отношении русские — совершенный контраст с немцами. Садко выкупает товары в Новгороде не по расчету, не по нужде, а потому что он расходился и ему море по колено. Он хочет насладиться чувством своего *золото*го могущества: черта чисто русская! Русский человек любит похвастаться чем бог послал: и кулаком, и плечами, и речами, и безумною удалью, которая может стоить ему жизни. Что же до денег — известное дело, что у него последняя ко-

пейка ребром. Копит он иногда деньгу целый год, живет, как жид, во всем себе отказывает — и для чего всё это? — чтобы под веселый час всё разом спустить. Коли расхочется, — он добр и тароват: валя к нему на двор званный и незванный, пей и ешь сколько душе угодно; не идет в душу, — лей и бросай на пол. Тут он уже и не торгуется — дает без счету, сколько рука захватила; а завтра — хорошо, если осталось, чем опохмелиться, и — на пищу святого Антония,¹ не жалея, не раскаиваясь, без вздохов и охов — до нового праздника... Конечно, в этом есть нечто дикое, если хотите, но в форме, а не в сущности: в сущности это — черта благородная, признак души сильной, широко разметывающейся.

Но Садко обязан своим богатством не себе, а Волге да Ильмену, да Новгороду Великому. Волга прислала с ним поклон брату своему Ильмену, Ильмень разговаривает с Садкою в виде удалого доброго молодца; это олицетворение имеет великий смысл: реки и озера судоходные — божества торговых народов. Превращение рыбы в деньги — тоже не без смысла: это язык поэзии, выразивший собою прозаическое понятие о выгодном торговом обороте. Садко выкупил все товары в Новгороде; остались только битые горшки — и те надо скупить: пусть играют ребятишки да поминают Садку гостя богатого. Новгород унижен, оскорблен, опозорен в своем торговом могуществе и величии: частный человек скупил все его товары, и всё остался богат, а товаров больше нет... Но этот Садко стал так богат, благодаря Новгороду же, — а потому пусть ребятишки играют битыми черешками да поминают Садку гостя богатого, что *не Садко богат — богат Новгород всякими товарами заморскими и теми черепанами, гнилыми горшки...*

Итак, Садко велик и полон поэзии не сам по себе, но как один из представителей Великого Новгорода, в котором всего много, всё есть — от драгоценнейших заморских товаров до битых черепков. Последние слова, выставленные нами курсивом, удивительно замыкают собою поэму, дают ей какое-то художественное единство и полноту, делают осязательно ясною скрытую в ней идею. Вся поэма проникнута необыкновенным одушевлением и полна поэзии. Это один из перлов русской народной поэзии.

Последняя новгородская поэма едва ли уступает в поэтическом достоинстве этой. Можно сказать утвердительно, что, уступая ей с одной стороны, <она> превосходит ее с другой. В ней опять два героя: один видимый — Садко, другой невидимый — Новгород, но уже не сам собою, а своими боже-ствами-покровителями — морями, озерами и реками, особенно тою, которая поила его из своих берегов. Все эти моря, озера и реки олицетворены в поэме и являются поэтическими лично-

стями, что придает поэме какой-то фантастический характер, вообще столь чуждый русской поэзии, и тем более поразительный в этой поэме.

Плывут по синему морю тридцать кораблей, один сокол корабль самого Садки гостя богатого. Все корабли что соколы летят, а сокол Садкин корабль на море стоит. Садко велит своим *ярыжкам, людям наемным, подначальным*, резать жеребья валжены и бросать их на сине море, которые-де поверху плывут, а и те бы душеньки правые, а которые в море тонут, тех-то спихнем-де мы во сине море. Садко кинул хмелево перо с своею подписью: а все жеребья по морю плывут, кабы яры гоголи по заводям; един жеребий во море тонет — во море товет хмелево перо самого Садки гостя богатого. Садко велит резать жеребья ветляные; которые-де жеребья потонут, а и то бы — душеньки правые. Сам он бросает жеребий булатный в десять пуд. И все жеребья во море товут, един жеребий поверху плывет — самого Садки гостя богатого. Говорит тут Садко купец, богатый гость: «Вы ярыжки, люди наемные, а наемны люди, подначальные! Я Сад-Садко знаю, ведаю: бегаю по морю двенадцать лет, тому парю заморскому не платил я дани, пошлины, и во то сине море Хвальнское хлеба с солью не опускавал, — по меня Садку смерть пришла. И вы, купцы, гости богатые, а вы целовальвики любимые, а и все приказчики хорошие, принесите шубу соболиную». И скоро Садко наряжается, берет он гусли звончаты со хороши струны золоты, и берет он шахматницу золоту со золоты тавлеями. На золотой шахматнице поплыл Садко по сию морю. Все корабли по морю пошли, и Садкин корабль что кричит бел летит. Отца, матери молитвы великия, самого Садки гостя богатого: подымалася погода тихая, прибило Садку к крутому берегу. Пошел Садко подле синя моря, нашел он избу великую, а избу великую — во всё дерево, нашел он двери — и в избу вошел. И лежит на лавке царь морской: «А и гой еси, ты купец, богатый гость! А что душа радела, того бог мне дал, и ждал Садку двенадцать лет, а ныне Садко головой пришел; поиграй Садко в гусли ты звончаты». Стал Садко царя тешити, а царь морской зачал скакать, плясать; и того Садку напоил питьями разными — развалялся Садко, и пьян он стал, и уснул Садко купец богатый гость. А во сне пришел святитель Николай к нему, говорит ему таковы слова: «Гой еси, ты Садко купец, богатый гость! А рви ты свои струны золоты, и бросай ты гусли звончаты: расплясался у тебя царь морской, а сине море всколебалось, а и быстры реки разливались, топят много бусы, корабли, топят души напрасные того народу православного». Бросил Садко гусли звончаты, изорвал струны золоты; перестал царь

морской скакать и плясать: утихло море синее, утихли реки быстрые. Поутру царь морской стал уговаривать Садку жениться и привел ему тридцать девиц; а Никола ему во сне ваказывал, чтоб не выбирал он хорошей, *белыя, румяныя*, а взял бы девушку поваренную, котора хуже всех. Садко думался, не продумался, и взял девушку поваренную; царь морской положил Садку с новобрачною в подклете спать, а Никола святой во сне Садке наказывал не обнимать и не целовать жены. С молодой женой Садко на подклете спит, свои рученьки ко сердцу прижал; со полуночи ногу леву накиннул он впросоньи на молодую жену; ото сна Садко пробуждался—он очутился под Новгородом, *а левая нога на Волх-реке...*

Взглянул Садко на Новгород, узнал он церкву, приход свой, того Николу Можайского, перекрестился он крестом своим. И глядит Садко по Волх-реке: от того синя моря Хвалынского, по славной матушке Волх-реке, бегут, побегут тридцать кораблей, един корабль самого Садки гостя богатого. И встречает Садко купец, богатый гость целовальников любимых, и со всех кораблей в таможную положил казны своей сорок тысячей — по три дни не осматривали.

Кто бы ожидал такой развязки от левой ноги?.. Какая широкая, размахистая фантазия! А пляска морского царя, от которой синее море всколебалось, а и быстры реки разливались!.. Да, это не сухие, аллегорические и риторические олицетворения: это живые образы идей, это поэтическое олицетворение покровительных для торговой общины водяных божеств, это поэтическая мифология Новгорода, которая в тысячу раз лучше религиозной славянской мифологии с ее семью дрянными богами!.. Замечательная черта характера русского человека видна в хитростях Садки, чтобы отделаться от наказания: види, что его хмелевое перо потонуло, он предлагает новую пробу, наоборот; но когда он видит, что его булатный жеребий в десять пуд поплыл поверх воды, а ветляные жеребьи товарищей потонули,— то уже более не отвертывается, но, по-русски, бросается страху прямо в глаза, со всею решимостию, отвагою и удалью...

Есть еще новгородское сказание, но то уже не поэма, а сказка, в которой новгородского — только герой. Мы говорим об «Акундине», помещенном в первой части «Русских народных сказок», изданных г. Сахаровым. Так как нам теперь, кончивши весь цикл богатырских поэм, должно сказать что-нибудь и о сказках, — то и кстати перейти прямо к «Акундину». На этот раз мы ограничимся только общеою характеристикою, не пускаясь в подробности. Акундин — богатырь в сказоч-

ном роде. Жил он в старом Новгороде, а был со посадской стороны, со торговой, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу торговал; а ходил он, Акундин, со повольницей и гулял по Волге по реке на суденышках. Понаскучило ему, Акундину, повольницу водить; вот и думает Акундин: кабы ему до Киева дойти, во Москве побывать. Сел он на судевышко и поплыл по Волх-реке, через тридцать три дня увидел себя у крута бережка. Навстречу ему попался калечище перехожий, он спрашивает у него: что то за сторона, что за город? И узнает Акундин от калечища, что «сторона то широкая, что от Оки-реки потягла до Дону глубокого, зовут Рязанью, а правит тою стороной стольный князь Олег; а что город-то поселен по Оке-реке, то зовут Ростиславль, а на столе княжит рязанского роду князь, молодой Глеб Олегович». Акундин призадумался, да и сказал себе невзначай: «А кабы ту широкую сторону Рязань и с молодым князем Глебом Олсговичем и со всеми его исконными слугами покорить Новугороду». Здесь виден новгородец, член вольной и торговой общины, который всё относит к своей родине и о ее выгодах заботится, как о своих собственных. Слушая Акундина, калечище думает: «Не корыства сторона для Новгорода! Кабы Рязань не поломили злы татарове, да не обложили данью великою, постояла б Рязань за себя. Да и Рязань не та чета Новугороду».

Калечище показывает Акундину, что на Оке плывет чудовище невиданное — Змей Тугарин. Длинною-то был тот Змей Тугарин во триста сажен, хвостом бьет рать рязанскую, спиною валит круты берега, а сам всё просит стару дань. Разгорелось богатырское сердце у Акундина: хочет он сражаться с Змеем за Рязань. Калечище, узнав о роде-племени Акундина, снял с себя платье перехожее, надевал платье посадничье и назывался Замятнею Путятичем, дядею Акундина: брат его, отец Акундина, был посадским в Новгороде, и не взлюбили его люди новгородские — *вишь, правил ими не так*, и порсшили сгубить с родом, с племенем и сокрушили его со всем домом; а Замятня Путятич пошел в Киев, и «с той поры во тоске, во кручине, горе гореваньицем качу, свое милое детище (Акундина) дожидаячи». Но каким образом, дожидаясь в Киеве, увиделся он с племянником на Оке — бог весть... Не домолвивши речи вестныя, стал Замятня Путятич кончатися, со белым светом расставатися: *видно на роду ему, братцы, так написано, что довелось посередь поля переставитися!*.. Как стал Замятня Путятич со белым светом расставатися и учал отповедь чинить: «А и гой еси, ты мое милое детище, Акундин Акундинович! Как и будешь ты во славном во Новгороде, и ты ударь челом ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: „И дай же то ты, боже! Тебе ли, Новугороду, век вековать,

твоим ли детушкам славы добывать! Как и быть ли тебе, Новгороду, во могучестве, а твоим ли детушкам во богатстве!..»

Какая поэтическая и умиленная картина любви к родине со стороны оскорбленного ею одного из сыновей своих!.. Сколько простодушия, чувства, любви, бесконечного стремления и порывания выражается в простых, но глубоко поэтических словах умирающего гражданина Великого Новгорода! Последняя мысль, последнее слово изгнанника — благословение неправой, но всё милой родине!.. Да, это поэзия! Тут есть мысль — и мысль глубокая!..

Глеб Олегович женится, а Змей Тугарин грозит потопить Ростиславль. Старый посадник Юрья Никитич дает совет князю — послать послов к Тугарину. Змею понравилось смирение князя, он вступил в переговоры, принимал от послов хлеб-соль и съедал за единый раз. Послы говорили, что мир готовы урядить, а дани не ведают за собою никакой. Змей называет их смердами Ростиславичами и ссылается на записи. Хитрый старый дьяк Чеботок развернул записи поручные и свел по ним, что долгу нет. Змей требует мешка золота за Ростиславичей, мешка серебра за отцов их и мешка камней самоцветных за дедов — иначе грозит затопить город, а жен в Орду продать. Здесь Змей Тугарин — ясно апофеоза татар, обыкновенно делавших набеги свои из-за Оки, и прежде всего опустошавших Рязанское княжество. Хитрый дьяк Чеботок просит у Тугарина мешков и, получив, думает их сжечь: без мешков-де не во что будет и дани собирать. Но посадский Юрья Никитич думает иначе: ему жаль золотой казны княжеской, и он напустил на дьяка Чеботка: «А постой ты, дьяк! А и погоди ты, дьяк! А и ты-то, дьяк, злой еретик, заодно с Тугариным держишься еретичества. А и знаю я, как тебя изнять, а и знаю я, как тебя со бела света согнать!» Взял да и посадил дьяка в мешки, да и послал к Змею. И он дьяк Чеботок на ту пору догадлив был: давай мешки глотать, свету божьего искать; как проедал он один мешок, два зуба сломал; как проедал он второй мешок, три зуба сломал; как проедал он третий мешок, все пять сломал. И начал дьяк Тугарину всю вину на посадника слагать, что жаль ему золотой казны княжеской. И стал Тугарин пытаться дьяка, сколько-де у князя золотой казны, камней самоцветных и силы ратной. «А и право скажу, ничего не утаю: лишь, дядюшка, окунись в Оку, да достань белосыпучего песку». Змей достал и подал дьяку, а дьяк учал бегать по полю, утекаячи к городу, крича: «А и вот какова сила ратная у молодца князя Глеба Олеговича!» И тут Тугарин догадался, что дьяку в обман дался, а догадавшись, давай Оку-реку гонять, город Ростиславль затоплять. А дьяк, пришедши в город, объявил князю, что Змей готов на мир, да только хочет перего-

воры вести с одним посадником Юрьем Никитичем. И тому-то старый посадник веру имал. А и не знал он, старый посадник, что дьяк-то его избывал. *Да и дьяку ли веру имать? И волчья снасть у дьяка на зубах; пулы берет, на суды сыды (?) ведет.*¹ Змей почел посадника за дьяка, в другоряд в обман не хотел даваться, и тут его, старого посадника, съел за один раз. И дьяк Чеботок на ту пору догадлив был: он, злодей, во воротах за старчища стоял, да на стара посадника смотрел. Как-де завидел он, дьяк, что Змей Тугарин стара посадника съел, то и давай себе кричать: «Ай, батюшки, беда! Ай, родимые, беда! Не стало нашего посадника, Юрья Никитича, на белом свете. Уж его ли, родимого, Змей Тугарин съел. А и что мы, сироты, будем без него!» И его дьячьи слова скоро до князя дошли; а никто про то во городе не ведает, а никто про то не знает, *что то дьячьи стражня, стара дьяка Чобота.*

Этот интересный эпизод о хитрых проделках дьяка Чобота показывает, что поэзия иногда лучше всех летописей может быть историческим фактом. Дьяки Чоботы мало изменились с тех пор...

Князь Глеб собирает войско, идет на Тугарина, попадает ему стрелою в правый глаз; но рязанцам скоро стало не в мочь. Тогда Акундин напустился на Змея Тугарина и убил его. Князь Глеб одарил его шубою соболиною, гривною золотою, а князя и бояре повели его, Акундина, под белые руки во gridsницы княжеченские, сажали за столы дубовые, за скатерти браные, за ества сахарные, прошали хлеба-соли покушать, белых лебедей рушать. Князь оставлял его у себя, жаловал боярством, давал усадьбище немалое, палаты посадничьи. Но Акундин от всего отказывался и поехал на своем суденышке оснащенном в Киев-град. Доехав до Муром, он узнал, что татары полонили много народу из Муром, а дочь воеводы муромского, Настасью Ивановну. Акундину стало жаль добрых муромцев, а жалчей того воеводы муромского. Он отправился на своем суденышке в Орду мирную, перебил ее всю до одного человека, и выручил из полону Настасью Ивановну, и отправил ее вперед в Муром с молодым боярином Замятнею Никитичем, который ходил с ним в Орду из Муром. На дороге ему попала другая Орда — он и ту изрубил. Приехал в Муром, а там свадьба: Настасья Ивановна выходит за Замятню Никитича. Воевода говорит Акундину: «А и думали мы, что тебя в живых не стало: за твои услуги великие награжу я тебя золотой казной, а на вашей лебедушке не погнавайся». Уезжая, Акундин слово молвил: «Не дай же то, боже, во век в Муроме бывать, того воеводу муромского видать: а и его-то воеводины слова перелетные — *на посулях висят*». Неждан Иванович за то слово велит слугам гнать его вон со двора: «А и он ли, невежа, деревенский мужик,

усмехаючись, и ждут отповеди от Васьки. Встает Васька, поклоняется, припимает братину во белы руки, выпивает зелено вино единым духом. И стала братина пуста досуха, а Васька сидит вполпьяна. Заиграла хмельнушка, закипела кровь молодецкая, и стал Васька похвалиться: «Глупые вы, неразумные, мужики посадские! Взять будет Василью Буславичу Новгород за себя; править будет мужиками посадскими на своей воле: брать будет пошлины дачные со всей земли; с лову заячьего и гоголиного, с звездных гостей пошлипы мытные, а мужикам посадским будет лежать у ног моих».

Не любы стали мужикам посадским речи спорные; закричали все во едино слово: «Млад еще ты, детнице неудалое; не зрел твой ум, не бывать за тобой Новгороду; потерять тебе буйну голову; не честь тебе с нами жить; пет про тебя с вами земли».

Разгорается сердце молодецкое пуще прежнего; распалается голова буйная. «Не честь мне с вами жить (отповедь держит Васька) — иду с вами переведаться». Встает Васька из-за стола дубового, встает, идет, не кланяется; и только его видели!

И вот мы прошли весь цикл богатырских поэм; что до сказок — их в сборнике г. Сахарова так мало, что мы обо всех, по крайней мере, упомянули, а в хранилище народной памяти так много, что обо всех не переговоришь. Скажем коротко об общем характере этих поэм и сказок. Содержание их бедно до пустоты, а потому и однообразно до утомительности. Отсутствие мифических созерцаний, как зерна развития внутреннего и политического, ограниченная сфера народного быта, стоячесть жизни, вращавшейся вокруг себя без движения вперед, подобно колесу, ось которого утверждена в стене, — вот причина скудости и однообразия в содержании этих поэм. Только в Новгороде, где, вследствие торговли и ее плода — всеобщего богатства и довольства — жизнь раскинулась пошире, поразмашистее, а дух предприимчивости, удалства и отваги, свойственный русскому племени, нашел себе более свободную сферу, — только в Новгороде народная поэзия могла проявиться более яркими проблесками. Мы уже говорили выше, что новгородский штемпель лежит на всем русском быте, а следовательно, и на всей русской народной поэзии; что даже сам Владимир, великий князь киевский стольный, и все богатыри его и говорят, и действуют, и пируют как-то по-новгородски и как будто по-купечески.

Но, несмотря на всю скудость и однообразие содержания наших народных поэм, нельзя не признать необыкновенной исполинской силы заключающейся в них жизни, хотя эта жизнь и выражается, повидимому, только в материальной силе для которой всё равно — побить ли целую рать ординскую, или единым духом выпить чару зелена вина в полтора ведра, турий рог меду сладкого в полтретья ведра. Богатырь всегда — богатырь, и сила, в чем бы ни выражалась она — всегда ила: сильный пленяется только силою, и богатырь богатыр-

ством. В грезах народной фантазии оказываются идеалы народа, которые могут служить мерою его духа и достоинства. Русская народная поэзия кипит богатырями, и если в этих богатырях незаметно особенного избытка каких-либо нравственных начал, — их сила всё-таки не может назваться лишь материальною: она соединялась с отвагою, удалством и молодечеством, которым — море по колено, а это уже начало духовности, ибо принадлежит не к комплексии, не к мышцам и телу, а к характеру и вообще нравственной стороне человека. И эта отвага, это удалство и молодечество, особенно в новгородских поэмах, являются в таких широких размерах, в такой несокрушимой, исполинской силе, что перед ними невольно преклоняешься. Одни эти качества — отвага, удаль и молодечество еще далеко не составляют человека; но они — великое поручительство в том, что одаренная ими личность может быть по преимуществу человеком, если усвоит себе и разовьет в себе духовное содержание. Мы уже сказали и снова повторяем: Русь, в своих народных поэмах, является только телом, но телом огромным, великим, кипящим избытком исполинских физических сил, жаждущим приять в себя великий дух и вполне способным и достойным заключить его в себе... Долго ждала она своего духовного возрождения, готовилась к нему тяжелым и кровавым испытанием, долгою годиною ужасных бедствий и страданий — и дождалась: нестройный хаос ее существования огласился творческим глаголом «да будет!» — и бысть...¹

Форма народных поэм совершенно соответствует их содержанию: та же исполинская мощь — и та же скудость, та же неопределенность и то же однообразие в выражении и образах. Если у князя или гостя богатого пир, — то во всех поэмах описание его совершенно одинаково: «А и было пированье — почестный пир, а и было столованье — почестный стол; а и будет день во полудне, а и будет пир во полу-пире, а и будет стол во полу-столе». Если богатырь стреляет из лука, то непременно: «А и спела ведь тетивка у лука — взвыла да пошла калена стрела». Обезоруженный ли богатырь ищет своего оружия, то уже всегда: «Не попала ему его палица железная, что попала-то ему ось тележная». Если дело идет об удивительном убранстве палат, то: «На небе солнце — в тереме солнце» и пр. Одним словом: все источники нашей народной поэзии так немногочисленны, что как будто перечтены и отмечены общими выражениями, которые и употребляются по надобности.

Форма русской народной поэзии вообще оригинальна в высшей степени. К главным ее особенностям принадлежит музыкальность, певучесть какая-то. Между русскими песнями есть такие, в которых слова как будто набраны не для составления какого-нибудь определенного смысла, а для последовательного

ряда звуков, нужных для «голоса». Уху русский человек жертвовал всем — даже смыслом. Художник легко примиряет оба требования; но народный певец по необходимости должен прибегать к повторениям слов и даже целых стихов, чтобы не нарушить требований ритма. Сверх того, в русской народной поэзии большую роль играет рифма не слов, а смысла: русский человек не гоняется за рифмою — он полагает ее не в созвучии, а в кадансе, и полубогатые рифмы как бы предпочитает богатым; но настоящая его рифма есть — рифма смысла: мы разумеем под этим словом двойственность стихов, из которых второй рифмует с первым по смыслу. Отсюда эти частые и, по видимому, ненужные повторения слов, выражений и целых стихов; отсюда же и эти отрицательные подобия, которыми, так сказать, оттеняется настоящий предмет речи: «Не грозна туча во широком поле подымалася, не полая вода на круты берега разлиалася: а выводил то молодой князь Глеб Олегович рать на войну»; или: «Не высоко солнце по поднебесью восходило, не румяная заря на широком поле расстилалася: а выходил то молодой Акундин».

Не допустят Екима до добра коия,
 До своей его палицы тяжкия,
 А и тяжкия палицы медная,
 Лита она была в три тысячи пуд;
 Не попала ему палица железная,
 Что попала ему ось-то тележная.

Все эти повторения и ненужные слова: *своей* и *его*, *тяжкия* и *тяжкия*, *попала* и *попала* сделаны явно для певучей гармонии размера и для рифмы смысла; для того же сделана и бессмыслица, т. е. в третьем стихе палица названа *медною*, а в пятом *железною*: железная была необходима, сверх того, и для кадансовой, просодической (а не для созвучной) рифмы: *железная* — *тележная*: ◡—◡◡ и ◡—◡◡◡.

Таких примеров можно найти бездну, но для пояснения нашей мысли довольно и этих. Теперь мы, сообразно плану нашей статьи, должны перейти к песням историческим. Этот отдел русской народной поэзии беден во всех отношениях: и числом, и содержанием, и поэзией. Трудное и тяжелое историческое развитие Руси до Петра Великого было слишком сухою и бесплодною почвою для поэзии.

Древнейшая историческая песня в рассматриваемых нами сборниках находится в книге Кирши Данилова и называется «Щелкан Дудентьевич». Она носит на себе характер сказочный; но явно, что историческое событие дало для нее содержание. Герой ее, *Щелкан Дудентьевич*, не получил себе от своего шу-

рина, царя Азвяка Ставруловича, удела, потому что был во время раздачи уделов в Литве: «Брал он, млад Щелкан, дани, выходы,¹ царски невыплаты; с князей брал по сту рублей, со бояр по пятидесяти, с крестьян по пяти рублей, — у которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, у того жеу возьмет; у которого жены-то нет, того самого головой возьмет». Возвратившись к царю Азвяку с даями, невыплатами, он просит у него себе в удел старую Тверь. Азвяк отвечает ему: «Гой еси, шурина мой, Щелкан Дудентьевич! Заколи-тко ты сына своего, сына любимого, крови ты чашу напеди, выпей ты крови тоя, крови горячия, и тогда я тебя пожалую Тверью богатою, двумя братцами родимыми, дву удалыми Борисовичами». Выполнив *гуманное* желание царя, Щелкан «судьею насел в Тверь ту старую, в Тверь ту богатую: а немного он судьею сидел: и вдовы-то бесчестити, красны девицы позорити, надо всеми наругаться, над домами насмехаться. Мужики-то старые, мужики-то богатые, мужики посадские, они жалобу приносили, двум братьям родимым, двум удалым Борисовичам; от народа они с поклоном пошли, с *честными подарками*. Изошли его в доме у себя Щелкана Дудентьевича; подарки принял от них, чести не воздал им. Втапоры млад Щелкан зачванился, он загординился, и они с ним раздорили — один ухватил за волосы, а другой за ноги и тут его разорвали. Тут смерть ему случилася, ни на ком не сыскалося». Эта песня есть искаженная быль XIV столетия: Щелкан Дудентьевич есть не кто иной, как Шевкал, сын Дюденев, двоюродный брат хана Узбека (переименованного сказкою в *Азвяка*, да еще в *Ставруловича*), который, прибыв послом в Тверь в 1327 году, за свою жестокость и наглость был сожжен гражданами и со всею своею свитою из татар.

Кроме этой песни, нет ни одной, которая бы относилась к эпохе татарщины; равным образом, нет ни одной исторической песни, которая бы относилась к Донскому, к Иоанну III; есть несколько песен об Иване Грозном, да несколько песен, относящихся к эпохе самозванцев и борьбы России с Польшею за независимость; также из эпохи царя Алексея Михайловича и Петра Великого. Всех этих песен числом не более десяти, да и те совершенно ничтожны и по содержанию, и по форме, и по историческому значению. Русская народность еще сознавала себя в сказках: в истории она потерялась. Русский человек как бы не чувствовал себя членом государства и потому не знал, что в нем и делалось. До него доходили слухи, он и сам бывал свидетелем событий, как ратник, ливший кровь свою по царскому наказу, боярскому приказу, но ничего не понимал в них и перевирали их вопреки здравому смыслу и исторической действительности. Так, в одной песне «кругом сильна царства

Московского *Литва* облегла со все четыре стороны, а и с нею сила, *Сорочина* долгополая, и те *черкесы пятигорские*, еще ли *калмыки с татарами*, со *татами*, со *башкирцами*, еще *чукши со люторами* (с лютеранами, из которых политический такт древней Руси сделал особый народ);¹ тогда Михайло Скопин «правитель царству Московскому, оберегатель миру крещеному и всей нашей земли святорусския» приезжал в Новгород, «садился на ременчат стул, а и берет чернилицу золотую, как бы в ней перо лебединое, и берет он бумагу белую, писал ярлыки скорописчаты во Свицкую (шведскую) землю, *Саксонскую*, ко любимому брату названому, ко свицкому королю Карлосу, а от мудрости слово поставлено: „А и гой еси, названный брат, а ты свицкий король Карлус! А и смилуйся, смилосердуйся, смилосердуйся, покажи милость, а и дай мне силы на подмочь“». Сие послание — образец дипломатического красноречия, отослано к шведскому королю, который и прислал к Скопину на помощь сорок тысяч войска. Соединившись с шведскими, наши войска пошли <в> восточную сторону и вырубил Чудь белоглазую и Сорочину долгополюю; в полуденную сторону — перекрошили черкес пятигорских, «еще ноне тут Малороссия», и таким же образом уничтожили Литву, чукчей, башкирцев, калмыков и «люторов». В остальной половине пьесы перевирается по-сказочному отравление Скопина, которого причина — самая народная: Скопин на пиру у Воротынского больно начал похвалиться: «Я, Скопин, очистил царство Московское и велико государство Российское, еще ли мне славу поют до веку, от старого до малого, от малого до веку моего». И тут боярам за беду стало: они подсыпали в чащу зелья лютого, а кума Скопина крестовая, дочь Малюты Скурлатова, поднесла ему отравленную чащу. Окончание пьесы отличается всею наивною и удалою прелестью русской народной поэзии:

То старина, то и дѣянье,
 Как бы синему морю на утишенье,
 А быстрым рекам слава до моря,
 Как бы добрым людям на послушанье,
 Молодым молодцам на перепиманье,
 Еще нам, веселым молодцам, на потешенья,
 Сидючи в беседе смиренныя,
 Испиваючи мед, зелено вино,
 Где-ко пиво пьем, тут и честь воздаем
 Тому боярину великому
 И хозяину своему ласковому.

В другой песне царь Алексей Михайлович три года стоит под Ригию, потом едет в Москву; войско просит царя не оставлять

его под Ригию: «Она скучила нам Рига, напрокучила: много голоду, холоду приняли, наготы, босоты вдвое того». Царь отвечает: «Когда прибудем в каменну Москву, забудем бедность, нужу великую, а и выставлю вам погребы царские, что с пивом, с вином, меда сладкие».

Лучшие исторические песни — об Иване Грозном. Тон их чисто сказочный, но образ Грозного просвечивает сквозь сказочную неопределенность со всею яркостью громовой молнии. В драгоценном сборнике Кирши Данилова, к сожалению, далеко не вполне перепечатанном г. Сахаровым, есть песня под названием «Мастрюк Темрюкович», в которой описывается кулачный бой царского шурина, Мастрюка, с двумя московскими удалцами. Грозный пировал по случаю женитьбы своей на *Марье Темрюковне*, сестре *Мастрюковне*, Купаве Крымской, царевне благоверной, дочери *Темрюка Степановича*, царя *Золотой Орды* (о, история!). На пиру все были веселы, не весел один Мастрюк Темрюкович, шурин царский: он еще нигде не нашел борца по себе и думает Москву загонять, сильно царство Московское. Узнавши о причине его кручины-раздумья, царь велел боярину Никите Романовичу искать бойцов по Москве. Два братца родимые по базару похаживают, а и бороды бритые, усы торженные, а платье саксонское, сапоги с раструбами. Они спрашивают боярина: «сметь ли нога ступить с царским шурином и сметь ли его побороть?» Царь велел боярину сказать им: «Кто бы Мастрюка поборол, царского шурина, платье бы с плеч снял, да нагого с круга спустил, а нагого как мать родила, а и мать на свет пустила». Прослышав борцов, «скачет прямо Мастрюк из места большого, угла переднего, через столы белодубовы, повалил он тридцать столов, да прибил триста гостей: живы — да негодны, на карачках ползают по палате белокаменной: *то похвальба Мастрюку, Мастрюку Темрюковичу*». Но эта похвальба худо кончилась для Мастрюка: Мишка Борисович его с носка бросил о землю; похвалил его царь-государь: *«Исполать тебе молодцу, что чисто борешься»*. А и Мишка к стороне пошел, ему полно бороться. А Потанька бороться пошел, костылем подпирается, сам вперед подвигается, к Мастрюку приближается; смотрит царь-государь, что кому будет божья помощь; Потанька справился, за плеча сграбился, согнет корчагою, воздымал выше головы своей, опустил о сыру землю — Мастрюк без памяти лежит, не слышал, как платье сняли: был Мастрюк во всем, стал Мастрюк ни в чем, со стыда и сорома окарачках под крылец ползет. Как бы бела лебедушка по заре она прокликала, говорила царица царю, Марья Темрюковна: «Свет ты, вольный царь Иван Васильевич! Такова у тебя честь добра до любимого шурина, а детина наругается, что детина деревейской; а почто он платье снимает?» Говорил тут

царь-государь: «Гой еси, ты царица во Москве, да ты Марья Темрюковна! А не то у меня честь во Москве, что татары-те борются; то-то честь в Москве, что русак тешится; хотя бы ему голову сломил, до любви бы я пожаловал двух братцов родимых, двух удалых Борисовичев».

Другая песня содержит в себе сказочное описание исторического происшествия, касающегося до ужасной личности грозного царя — убийства сына его Василия, смешанного в сказке, ради вящей исторической истины, с Федором Ивановичем. У Грозного пир во дворце, «а все тут князя и бояра на пиру напились, промеж собой расхвастались, а сильный хвастает силою, богатой-ет хвастает богатством. Злата труба в царстве протрубила, прогласил царь-государь, слово выговорил: «А глупы бояра, вы неразумные! А все вы безделицей хвастаетесь; а смею я царь похвалиться, похвалиться и похвастати: что вывел измену я из Киева, да вывел измену из Новгорода, а взял я Казань, взял и Астрахань». Царевич Федор говорит отцу, что не вывел он измены в Москве, что три большие боярина, а три Годуновы изменники. Царь велит сыну назвать трех изменников, говоря, что одного велит в котле сварить, другого — на кол посадить, а третьего — скоро казнить. «Ты пьешь с нами, ешь с единого блюда, единую чару с ними требуешь», — отвечал царевич; но царю то слово за беду стало, за великую досаду показалось, скричал он царь зычным голосом: «А есть ли в Москве немилостивы палачи? Возьмите царевича за белы ручки, ведите царевича со царского стола, за те за ворота москворецкие, за славную матушку Москву-реку, за те живы мосты калиновы, к тому болоту поганому, ко той ко луже кровавая, ко той ко плахе белодубовой». Все палачи испужались, по Москве разбежались: один палач не пужается, один злодей выступает — Малюта палач, сын Скурлатович. До старого боярина Никиты Романовича дошла весть перадошна, кручинная, что-де «упала звезда поднебесная, потухла во соборе свеча местная, не стало царевича у нас в Москве, а меньшого Федора Ивановича». Боярин скачет к болоту поганому, настиг палача на полу-пути, кричит ему зычным голосом: «Малюта палач, сын Скурлатович! Не за свойский кус ты хватаешься, а этим кусом ты подавишься; не переводы ты роды царские». Малюта отвечает, что его дело невольное, что не самому же ему быть сказану; чем окровенить саблю острую, руки белые, и с чем придти к царю пред очи, пред его очи царские? Никита Романович советует ему сказать его конюха любимого и в его крови предстать пред очи царские. Как завидел царь Малюту в крови, «а где-ко стоял, он и тут упал, что резвы ноги подломилися, царски очи помутилися, что по три дня не пьет, не ест». А Никита Романович увез царевича в село Романовское.

Царю докладывают: у тебя-де кручина великая, а у старого Никиты Романовича пир идет навеселе. *А грозный царь, он и крут добре*, велит схватить боярина нечестно; когда привели его к нему, он пригвоздил ему к полу ногу жезлом своим, грозит его в котле сварить либо на кол посадить. Когда дело объяснилось, царь дает боярину село Романовское, с такою привилегиею: «Кто церкву покрадет, мужика ли убьет, али у жива мужа жену уведет и уйдет во село во боярское, ко старому Никите Романовичу, — и там быть им не на выдаче».

Покорение Казанского царства воспето в целых двух песнях, на основании которых однако ж нельзя сделать и одной поэмы. Одна из этих песен¹ рассказывает, как Иван Васильевич под Казанью с войском стоял, за Сулай-реку бочки с порохом катал, а пушки и снаряды в чистом поле расставлял: как татары по городу похаживали и всяко грубиянство оказывали, и грозному царю насмехались, что не быть-де нашей Казани за белым царем; как царь на пушкарей осерчался, приказал пушкарей казнить, что подрыв так долго медлился, и как лишь пушкари слово молвить поотважились, — взрыв воспоследовал, а «все татары тут, братцы, устрашились, они белому царю покорилися».

Другая песня² почти вся состоит из сна казанской царицы *Елены*, который она рассказывает своему мужу, *Симеону*, что ей привиделось, «как от сильного царства Московского кабы сизый орлице вострепенулся, кабы грозная туча подымалась, что на наше ведь царство наплывала; а из сильного царства Московского подымался великий князь московский, а Иван, государь, Васильевич, *прозритель*». Далее следует содержание первой песни. Когда подрыв грянул, Иван Васильевич побежал в палаты царские, а Елена догадалась: посыпала соли на ковригу и с радостью встречала московского князя, — за что он ее пожаловал: привел в крещеную веру и постриг в монастырь; а царю Симеону за гордость, что не встретил он великого князя, «вынял ясны очи косицами», взял с него царскую корону, порфиру и царский костыль из рук принял. *И в то время князь воцарился и насел на Московское царство, что тогда-де Москва основалася; и с тех пор великая слава.*

И вся-то песня — сказка, поводом к которой было, впрочем, историческое событие; но что такое конец ее?.. Когда царь Иван Васильевич Казань взял, тогда только и на Московское царство насел, а до тех пор словно был без царства... И вот как отразился в народной поэзии колоссальный образ и отозвалася страшная память Грозного — этого исполина телом и духом, этого предтечи и предвозвестника Петра Великого, — который так ужасно рвался из тесных оков ограниченной народности и, явившись не во-время, бессильный с

самого себя свергнуть и разбить их, нашел в себе силу страшно выместить на своем народе враждебную себе народность!..

Из песни о Гришке Расстриге ясно видно, что этот даровитый и пылкий, но неблагоприятный и нерасчетливый удалец пал в глазах народа не за самозванство, а за то, что в ту пору, как князи и бояра пошли к заутрени, а Гришка Расстрига он в баню с женой; уже князи и бояра от заутрени, а Гришка Расстрига из бани с женой: выходит Расстрига на красный крылец, кричит, ревет зычным голосом: «Гой еси, ключники мой, приспешники, приспевайте кушанье разное, а и постное и скоромное: завтра будет ко мне гость дорогой, Юрья пан с паньей». Тогда, вишь, стрельцы догадались, в Боголюбов монастырь бросались, к царице Марфе Матвеевне; а узнав от нее всю правду, ко красному царскому крылечку метались и тут в Москве взбунтовались; злая жена Расстриги, Маринка безбожница, сорокою обернулася и из палат вон вылетела; а Расстрига догадается, на копыя стрелецкие с крыльца бросается — и тут ему такова смерть случилась».

Но следующая песня, о «Борисе Шереметеве», — достойном сподвижнике Петра Великого, лице несколько не мифическом, а вполне историческом и современном песне, — лучше всего обнаруживает историческую субстанциальность наших исторических песен. Шереметев, подходя с войсками ко славному городу Орешку, послал в объезд донских и яицких козаков — снять шведские караулы. Они полонили майора и привели его к самому государю; злата труба в поле протрубила, прогласил государь, слово молвил государь московский — первый император: «А и гой еси, Борис сын Петрович! Изволь ты майора допросити тихонько, по-малешеньку: а сколько-де силы в Орешке у вашего короля шведского?» Майор наговорил силы несметное множество; тогда император велел Шереметеву морить его голодом. А втапору Борис Петрович Шереметев *на то-то больно догадлив*: а двое-де сутки майора не кормили, во третьи винда ему подносили; втапору майор правду сказал: «Всех с королем нашим и генералом силы семь тысячей, а боле того нету». И тут государь взвеселился — велел ему, майору, голову отляпать.

И вот как народная фантазия поняла великого преобразователя Руси!.. Какого же исторического содержания, какой исторической жизни можно требовать от русских народных песен, относящихся к эпохе до Петра Великого!.. Не такова историческая поэзия Малороссии. История <ее> не принадлежит к истории всемирно-человеческой; круг ее тесен, политическое и государственное значение ее то же, что в искусстве гротеск; но не смотря на всё это, Малороссия была органически-политическим телом, где всякая отдельная личность сознавала

себя, жила и дышала в стихии своего общественного существования и потому знала хорошо дела своей родины, столь близкие к ее сердцу и душе. И потому народная поэзия Малороссии была верным зеркалом ее исторической жизни. И как много выписываем из сборника г. Максимовича, для лучшего уразумения всех и каждого, в русском прозаическом переводе, сделанном самим собирателем:

«Вот пошли казаки на четыре поля, — что на четыре поля, а на пятое на Подолье. Что одним полем, то пошел *Самко Мушкет*; а за паном хорунжим мало-мало не три тысячи, все храбрые товарищи запорожцы — на конях гарцуют, саблями поблескивают, бьют в бубны, богу молитвы воссылают, кресты полагают.

А Самко Мушкет — он на коне не гарцует, коня сдерживает, к себе притягивает, — думает, гадает... Да, чтобы сто чертей бедою пришибли его думу, гадаице! Самко Мушкет думает, гадает, говорит словами:

А что, как наше козачество, словно в аду, ляхи спалют? да из наших козачьих костей пир себе на похмелье сварят?..

А что, как наши головы козачьие, молодецкие по степи-полю полягут, да еще и родною кровью омоются, пощепанными саблями покроются?.. Пронадет, как порох из дула, та козачья слава, что по всему свету дыбом стала, — что по всему свету степью разлеглась, протянулась, — да по всему свету шумом лесов раздалась, — Туречине да Татарщине добрым лихом звать далась, — да и ляхам-ворогам на копыя отдалась?..

Закрячет ворон, степью летучи,
Заплачет кукушка, лесом скачучи,
Закуркуют сизые кречеты,
Задумаются сизые орлы —
И всё, всё по своих братьях,
По буйных товарищах козаках!..

Или их сугробом занесло, али в аду потопило: что не видно чубатых — ни по степям, ни по лугам, ни по татарским землям, ни по Черным морям, ни по ляшским полям?..

Закрячет ворон, загрует, зашумит, да и полетит в чужую землю... Ан нет! Кости лежат, сабли торчат; кости хрустят, пощепанные сабли бренчат...

А черная, сивая сорока оскалилась и скачет... А головы козачьие — словно швец Семен шкуру потерял!² А чубы — словно чорт жгуты повил: в крови все засохли; то-то и славы набрались!»

Это дифирамб исторической поэзии, это пафос патриоти-

ческого сознания! Что перед одним этим отрывком скудный сборник всех русских исторических песен!..

Донские козацьи песни можно причислить к циклу исторических, — и они в самом деле более заслуживают названия исторических, чем собственно так называемые исторические русские народные песни. В них весь быт и вся история этой военной общины, где русская удаля, отвага, молодечество и разгулье нашли себе гнездо широкое, раздольное и привольное. Их и числом несравненно больше, чем исторических песен; в них и исторической действительности больше, чем в последних, в них и поэзия размашистее и удалее. Взглянем бегло на те только, героем которых является Ермак.

На Бузане-острове сидели атаманы и есаулы — Ермак Тимофеевич, Самбур Андреевич, Анофрий Степанович; они думашку думали крепкую про дело ратное, про добычу козацкую. Есаул кричит голосом во всю буйну голову: «А и вы, гой еси, братцы, атаманы козацкие! У нас *кто на море не бывал, морской волны не видал, не видал дела ратного, человека кровавого, от желанья те богу не маливались*; останьтесь таковы молодцы на Бузане-острове». И садились молодцы во свои струги легкие, они грянули молодцы вниз по матушке Волге-реке, по протоке по Ахтубе.

Какая широкая и размашистая поэзия, сколько в ней силы и простору душевного! Так и говорит: берегись — ушибу!..¹ Но дальнейшее содержание этой песни мы расскажем своею прозою. Молодцам нашим повстречались двенадцать турецких кораблей — они взяли их в плен, а с ними и душу красну девицу, молодцу Урзамовну, дочь мурзы турецкого. Потом они повстречались с послом царским, Семеном Константиновичем, возвращавшимся из Персии со своими солдатами и матросами. *Козаки были пьяные, а солдаты не со всем умом*, напущались на них драгиса ради корысти своея. Не разобрав дела, посол выслал на козаков сто человек из своей свиты: Ермак велел своим бить их и бросать в Волгу. Козаки перебили всю посольскую свиту и самого посла, а все животы пограбили; приехали в Астрахань, назвались купцами, заплатили пошлины и пошли торговать без запрещения. Тем старина и кончилась — в первой песне.

Но во второй песне мы видим результаты этой старины: во славном понизовом городе Астрахани, против пристани матки Волги-реки, наши молодцы снова сходились думать думашку крепкую. Ермак Тимофеевич говорил: «А и вы, гой еси, братцы, атаманы молодцы! Не корыстна у нас шутка запущена; убили мы посла персидского и всем животом его покорыстовались: и как нам на то будет ответствовать? В Астрахани жить нельзя; на Волге жить — ворами слыть; на Яик идти — пе-

реход велик; в Казань идти — грозен царь стоит, грозен царь-осударь Иван Васильевич; в Москву идти — перехватанным быть, по разным городам разосланным и по темным тюрьмам рассаженым; пойдем же мы в усолья ко Строгановым, ко тому Григорью Григорьевичу, к тем господам ко Вороновым — возьмем мы много свинцу, пороху и запасу хлебного». Дальнейшее содержание песни состоит в рассказе, как наши молодцы пошли в Сибирь, добрались до Тагиль-реки, до горы Магницкой, зимовали, настроили коломенок, наделали соломенных людей и, добравшись до Тоболя, обманули ими татар и выиграли великую битву; как Ермак Тимофеевич взял в полон Кучума, царя татарского; как Ермак, пошивши козакам шубы и шапки соболиные, приехал в Москву с повинною головою к грозному царю Ивану Васильевичу; как государь прощал Ермаку все вины его и снова посылал его в Сибирь — брать с татар дани, выходы в казну государеву; как татары взбунтовались против Ермака и напали на него на Енисее, когда у него было козаков только на двух коломенках, и как в битве погиб храбрый и удалой завоеватель Сибири. «Он хотел перескочить на другую свою коломенку — и ступил на переходню обманчивую, правую ногу поскользнулся он — и та переходня с конца верхнего подымалась и на его опускалася, разбила ему буйну голову и бросила его и тое Енисей быстру реку: *тут Ермаку такова смерть случилась*».

Исключая поездки Ермака в Москву, на место есаула своего Кольца, всё остальное довольно правдоподобно для русской народной исторической песни. Впрочем, историческая верность — качество почти чуждое историческим русским песням. Причина очевидна: так как все явления исторической жизни старой Руси возникали как бы случайно, всякое само по себе, и не имели корня в политическом устройстве государства, — то и казались народу сказочными явлениями. Оттого всякое историческое лицо для народа казалось мифом, и он делал из его жизни сказку. Так, в одной козацкой песне Ермак сидит в Азове в тюрьме, мимо которой случилось пройти турецкому царю Салтану Салтановичу (Ермак, видите, был послан к султану из Москвы с подарками, а мурзы, уланы ограбили его, да и посадили в темницу). Султан, одарив его золотом, серебром, с честью отпускает в Москву; но доиской козак «загулялся по матушке Волге-реке, не явился в каменну Москву».

Солдатские песни образуют собою особый цикл народной поэзии. По форме своей они ничем не отличаются от других русских песен, но содержание их оригинально по русско-простонародному пониманию европейских вещей и по смеси чисто русских выражений с терминами и словами из сферы регулярно-военного их быта. Недостаток времени и места не позволяет нам

распространиться о солдатских песнях, и потому ограничимся только выпискою одной из них,¹ которая показывает, что великий преобразователь России прежде всех других своих подданных встретил к себе сочувствие в храбрых солдатах созданного им войска:

Ах ты, батюшка светел месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не попржнему?
Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи не до бела света,
Всё ты прядешься за облаки,
Укрываешься тучей темвою.
Что у нас было, на святой Руси,
В Петербурге, в славном городе,
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у клироса,
У гробницы государевой,
У гробницы Петра Первого,
Петра Первого, Великого,
Молодой сержант богу молится,
Сам он плачет, как река льется,
По койчине вскоре государевой,
Государя Петра Первого;
В возрыданьи слово вымолвил:
«Расступись ты, мать сыра земля,
Что на все ли на четыре стороны!
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися, золота парча!
И ты встань, пробудись, государь,
Пробудись, батюшка, православный царь!
Погляди ты на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Без тебя мы оспротель,
Осиротев, обесснелли!»

Так называемые «удалые» песни должны следовать непосредственно за козацкими: что такое были козаки, как не удалцы, промышлявшие на Волге чем бог послал; и что такое были удалцы, как не козаки, только не имевшие определенного места для жительства? Существование «удальцов» не было улегитимировано правительственною властью, но было улегитимировано общественным мнением, — и потому в одной песне они сами про себя говорят:

Мы не воры, — мы разбойнички:
Атамановы мы работнички.²

В подобных явлениях нет ничего унизительного для национальной чести, ибо в них виновато неустройство и шаткость общественного здания, а совсем не национальный дух. Италия и Испания — классические страны разбойников: там эти господа еще недавно разгуливали на улицах столичных городов, среди белого дня, и их боялись многие, но никто не презирал, с массою народа они всегда были даже в больших ладах. Теперь этого уже нет: нация всё та же, да порядок в обществе другой — вот и всё. Теперь можно изъездить и исходить святую Русь вдоль и поперек с туго набитым бумажником: может быть, вас обокрадут или засудят, но уже не ограбят и не зарежут. А прежде было не так, особенно до эпохи Петра Великого. Стесненность и ограниченность условий общественной жизни, безусловная зависимость слабого и бедного от произвола сильного и богатого, словом, *кошилинский*¹ характер администрации и общественной нравственности: всё это заставляло людей, чаще всего с сильными натуррами, искать какого бы то ни было выхода из тесноты и духоты на простор и приволье души. Низовые страны, особенно степи, прилегающие к Волге и Дону, давали полную возможность для подвигов удалства и молодечества. И наши удалцы того времени никогда не были ни козаками, ни разбойниками, а всегда тем и другим вместе: они били басурманов, крепко держались православия, оберегали границы и иногда, при стесненных обстоятельствах, грабили и посланников царских, и бояр, и кто попадет. Подвиги этих витязей такого рода никогда не были запечатлены ни эверством, ни жестокостию: они были удалцы и молодцы, а не злодеи. Конечно, они не отличались и идеальным рыцарством; но можно ли было требовать рыцарства в те варварские времена, когда и войны походили на грабеж и разбой, когда само правосудие было свирепо и кровожадно? Повторяем: наши удалцы не были, по крайней мере, хуже всех других сословий своего времени, если не были лучше их. При дурной общественности падшие души часто бывают самые благороднейшие по своей натуре — и уж конечно скорее можно предполагать человечность, благородство и возвышенность в покорителе Сибири, чем во многих из знатных тунейдцев, богатых только спесью, невежеством и низостию.

В песнях о Ермаке читатели могут сами видеть справедливость всего сказанного нами об удалых козаках. Теперь взглядом на удалцов собственно, в глазах которых удаль и успех извиняли всякое дело. Здесь опять господствующий элемент — удалство и молодечество, а сверх того и ироническая веселость, как одна из характеристических черт народа русского. Следующий отрывок из большой песни² может служить лучшим примером такого рода сочинений:

Ах, доселева Усов и слыхом ве слыхать, а слыхом их не слыхать, в-идом не видать; а нонече Усы проявились на Руси. Собралися Усы на царев на кабак, а садилися молодцы во еднный круг. Большой Усище и всем атаман, а Гришка Мурышка, дворянский сын, сам говорит, сам усом шевелит: «А братцы Усы, удалые молодцы! А и лето проходит, зима настает, а и надо чем Усам голова кормить, на полатах спать и нам сытым быть. Ах, нуте-тко, Усы, за свои промыслы! А мечитесь по кузницам, накуйте топоры (о подбородышами, а накуйте ножей по три четверти, а и сделайте бердыши и рогатины и готовьтесь все; ах, знаю я крестьянина — богат добре, живет на высокой на горе, далеко в стороне, хлеба он не пашет, да рознь продает, он деньги берет да в кубышку кладет, он пива не варит и соседей не поит, а прохожих-то людей ночевать не пускает, а прямыя дороги не сказывает. Ах, надо-де к крестьянниву умеючи идти: а и по полю идти — не посвящать, а и по бору идти — ве покашливать, ко двору его идти — не пошаркивать. Ах, у крестьянина-то в доме борзые кобели, и ограда крепка, избушка заперта, у крестьянина ворота крепко заперты».

Теперь нам следовало бы перейти к собственно лирической поэзии, но недостаток времени и места заставляет нас, против воли нашей, ограничиться только теми песнями, которые особенно характеризуют дух народный; а для этого мы должны говорить не о песнях эпического содержания, но которых преобладающий элемент — лирический и которые могут служить зеркалом семейного быта древней Руси. Как отличительный характер эпической поэзии — дух удалства, отваги, молодечества, так отличительный характер лирической поэзии — заунывность, тоска и грусть души сильной и мощной. Климат и географическое положение страны имеют сильное влияние на образование характера нации. Ровное, степное положение России, этот климат срединный, ни южный, ни северный, ни жаркий, ни холодный, этот год, состоящий из краткого лета, длинной осени и длинной зимы, — всё это не могло не способствовать развитию в русском народе чувства бесконечной и глубокой грусти, как основного мотива его поэзии и музыки. Не забудьте, что колыбелью настоящей, коренной Руси были Новгород, Владимир, Рязань, Москва и Тверь, где небо так часто бывает свинцово и мелкий дождь однообразно падает на скользкую траву и уличную слякоть... А продолжительная русская зима с ее трескучими морозами и усеянным звездами небом, с ее пушистыми метелями, залепляющими очи путника, и ее заунывным ветром, который свободно гуляет по необозримой снежной равнине, унылое однообразие которой изредка нарушается то печально зеленеющею елкою, то нагим лесом с беловатыми от инея сучьями!.. Вот скачет удалая тройка, борода лихого возничего покрыта пушистым инеем, путник глубоко забился в кибитку, в своей тяжелой шубе, колокольчик надрывает ему сердце своим утомительным звоном; извозчик дает вздохнуть *родимым* — медленно идут они, он затягивает заунывную пес-

ню, — впереди ничего — только бесконечная снежная ска-терть сливается вдаль с свинцовым небом... Да, тут необходима заунывая, протяжная несня ямщика — душа уливается полнотою собственной грусти, ей так привольно в однообразной мелодии этих задушевных звуков:

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...¹

Присовокупите ко всему этому медленное, тяжкое, испытательное историческое развитие Руси: междоусобия и темное владычество татар, которые приучили русского крестьянина считать свою жизнь, свое поле, свою жеу и дочь, и всё свое скудное достояние, считать их чужою собственностью, которая ежеминутно готова отойти во владение первого, кто, с железом в руке, вздумает объявить на нее свое право... Далее, кровавое самовластительство Грозного, смуты междоусобия — всё это так гармонировало и с суровою зимою, и с свинцовым небом холодной весны и печальной осени, и с бесконечностью ровных и однообразных степей... Вспомните быт русского крестьянина того времени, его дымную, неопрятную хижину, так похожую на хлев, его поле, то орошаемое кровавым потом своего владельца, то пустое, незасеянное, или затоптанное татарскими отрядами, а иногда и псовою охотою помещика... Вспомните привычку русского человека, зашибив деньгу, зарывать ее в землю — и ходить в лохмотьях, есть черствый хлеб пополам с мякиною, стоная и жалуясь на нищету, — и поймите причину этой привычки... Если и этого мало, прочтите Кошкина,² — и вам всё будет ясно и без комментарий...

Но география (положение и климат) и история страны еще ничто в сравнении с семейным бытом древней Руси, о котором мы теперь, сравнивая его с нашим современным, поневоле говорим, как о чем-то таком, что трудно понять, чему трудно поверить. Семейный быт есть первый и непосредственный источник народной поэзии. Русская народная эпическая поэзия как будто совсем не приняла в себя элемента сердечной тоски и душевной грусти, составляющей основной элемент лирической поэзии. И это понятно: русская эпическая поэзия как будто совсем обошла и миновала семейный быт, посвятив себя преимущественно идее своей народности в общественном значении. И потому в эпической поэзии чувство отваги, удалства и молодечества составляет главный и преобладающий мотив. Лирическая поэзия, напротив, вся посвящена семейному быту, вся выходит из него, — и потому она так грустна, так заунывна и

нередко дышит таким сокрушительным чувством отчаяния и ожесточения. Здесь кстати мы должны заметить, что грусть русской души имеет особенный характер: русский человек не расплываегся в грусти, не падает под ее томительным бременем, но упивается ее муками с полным сосредоточением всех духовных сил своих. Грусть у него не мешает ни иронии, ни сарказму, ни буйному веселию, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, мощной, несокрушимой. Всё, что могло бы обессилить и уничтожить всякий другой народ, всё это только закалило русский народ, — и то, что сказал Пушкин о России в отношении к ее борьбе с Карлом XII, то можно применить к Руси в отношении ко всей ее истории:

Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.¹

Значительную часть семейных песен составляют так называемые «свадебные» песни. Их можно разделить на два рода — на веселые и печальные. В первых воспевается счастье обрученных и особенно обрученной. Следующая песня² может служить образцом веселых свадебных песен:

С ранней утренней зари
Стояли кони во дворе.
Никто про тех коней не знает,
Никто про тех коней не ведает;
Одна знала, спознала Машенька,
Машенька свет Ефимовна.
Брала коней за поводы,
Ставила коней во стойла,
Сыпала сахар вместо овса,
Лила сыту вместо воды,
Отошедши, коням кланялась.
Уж вы кушайте, пейте, кони мои!
Завтра поутру свезите меня
Дале, подале от батюшки,
Ближе, поближе к свекру в дом;
Дале, подале от матушки,
Ближе, поближе к свекрови в дом.

Но в песнях такого рода личное чувство невест не принимало никакого участия: они слагались явно без их согласия, да и число их слишком невелико. Свадебные печальные песни гораздо многочисленнее и более исполнены поэзии. Все они выражают одно чувство — страх невесты к будущему, безуслов-

ному властителью своей участи, ужас свекора и свекрови, горьость от разлуки с домом отца, матери.

Светел месяц, родимый батюшка!¹
Красно солнышко, родима матушка!
Не бейте вы полу о полу,
Не хлопайте вы пирог о пирог,
Не пробивайте вы меня, бедную,
Не давайте вы меня, горькую,
На чужу дальню сторовушу,
Ко чужому отцу, ко чужой матери.
Как чужие-то отец с матерью
Безжалостливы уродилися:
Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается;
Насижусь-то я у них, бедная,
На конце стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся.

И все песни, в которых изображается картина замужества, суть оправдание этих злобещих предчувствий... И ни единой, ни единой, где бы жена не была жертвою насильственного брака, жестокости мужа и родни его...

Калину с малиною вода поила:²
На ту пору матушка меня родила;
Не собравшись с разумом, замуж отдала,
На чужедальнюю на сторовушку.
Чужая сторовушка без ветру сушит,
Чужой отец с матерью безвинно крушит;
Не буду я к матушке ровню три годка,
На четвертый к матушке пташкой полечу,
Горемышной пташечкою, кукушечкой.
Сяду я у матушки во зеленом саду,
Своим кукованьем весь сад иссушу,
Слезам горючими весь сад потоплю,
Родимую матушку сердцем надорву.
Матушка по сеничкам похаживает,
Невестушек-ластушек побуживает:
Вы встаньте, невестушки, голубки мои!
Что у нас за пташка в зеленом саду?
Большая невестка велит застрелить,
Меньшая невестка просит погодить,
Родная сестрица, залывшись слезами,
Молвила: не наша ль горюша сюда
Прилетела пташкой с чужой сторовы?

Ни в уме было, ни в разуме,¹
В помысленье того не было,
Чтоб красной девице замуж идти.
Соизволил так сударь батюшка,
Похотела так моя матушка
Ради ближнева перепутьца;
И я в торг пойду, побывать зайду,
Из торгу пойду, ночевать зайду.
Я спрошу у своей дитятки:
Каково жить в чужих людях?
Государыня моя матушка!
Отдавши в люди, стала спрашивать:
Во чужих людях жить умеючи,
Держать голову поклонную,
Ретиво сердце покорное.
Ах, вечер меня больно свекор бил.
А свекровь, ходя, похваляется:
Хорошо учить чужих детей,
Нерожденных, вехоженных,
Невспоеввых и невоскормленных.

Выдала меня матушка далече замуж,²
Хотела матушка часто езжати,
Часто езжати, подолгу гостити.
Лето проходит, матушки нету;
Другое проходит, сударыни нету;
Третье в доходе, матушка едет.
Уж меня матушка не узнавает:
Что это за баба? что за старуха?
Я вить не баба, я не старуха,
Я твое, матушка, милое чадо.
Где твое девалося белое тело?
Где твой девалося алой румянец?
Белое тело на шелковой плетке,
Алой румянец на правой на ручке:
Плеткой ударит,— тела убавит,
В щеку ударит,— румянцу не станет.

Смешно было бы доказывать, что и в старину у русских людей любовь составляла один из элементов жизни: любовь достояние общечеловеческое, и сердце дикаря сибирского так же бьется от нее, как и сердце образованного европейца. Разница в проявлении и развитии чувства, а не в самом чувстве. В от-

ношении же к обществам важно, как смотрит на чувство общество. С этой стороны, древняя Русь представляет зрелище не совсем отрадное: чем богаче народ чувством, тем ужаснее видеть его чувство сдавленным неправильно развившеюся общественностью. А что любовь на Руси могла быть не только поэтической, но даже и грациозно-поэтической,—тому доказательством может служить следующая прелестная песня:

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходил к ней батюшка,
Будил ее, побуживал:
Ты, Машенька, пойдем домой?
Ты, Ефимовна, пойдем домой?

Я вейду и не слушаю:
Ночь темна и немесячна,
Реки быстры, перевозов нет,
Леса темны, караулов нет.

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходила к ней матушка,
Будила, побуживала:
Машенька, пойдем домой?
Ефимовна, пойдем домой?

Я вейду и не слушаю:
Ночь темна и немесячна,
Реки быстры, перевозов нет,
Леса темны, караулов нет.

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходил к ней Петр,
Петр, сударь, Петрович,
Будил ее, побуживал:
Машенька, пойдем домой?
Душа Ефимовна, пойдем домой?

Я иду, сударь, и слушаю:
Ночь светла и месячна,
Реки тихи, перевозки есть,
Леса темны, караулы есть.

Но это, к сожалению, чуть ли не единственная песня во всем сборнике г. Сахарова.¹ Если и еще найдутся подобные, то число

их слишком незначительно в сравнении с числом песен, подобных следующим: молодец —

... держал красну девицу за белы ручки¹
И за хороши за перстни злаченые,
Целовал, миловал, ко сердцу прижимал,
Называл красну девицу животом своим.
И проговорит девица душа красная:
«Ты надежа мой, надежа сердечной друг!
А не честь твоя, хвала молодецкая,
Без числа больно, вадежа, ушиваешься,
А и ты мной красной девицей похваляешься,
А и ты будто надо мной всё васмехаешься».
Ему тутто молодцу за беду стало,
Как он бьет красну девицу по белу ее лицу:
Он расшиб у девицы лицо белое,
Проливал у девицы кровь горячую,
Замарал на девице платье цветное.

Противоречие общественности с разумными потребностями и стремлениями человеческой природы становится обществом в трагическое положение. В нашей народной поэзии бездна трагических элементов, свидетельствующих о глубине и страшной силе русского духа, который, попавшись в противоречие, мстил и себе самому и всему окружающему. Вот несколько примеров для подтверждения этой мысли:

Хорошо тому на свете жить,²
У кого нет стыда в глазах,
Нет стыда в глазах, ни совести!
Нет у молодца заботушки,
В ретивом сердце зазнобушки!
Зазнобил мевя любезный друг,
Зазнобил, сердце повесушил,
Без краснова солнца высушил,
Без морозу сердце вызнобил.
Я сама дружка повесушу!
Не зельями, не кореньями,
Без морозу сердце вызноблю,
Без краснова солнца высушу!
Схороню тебя, мой миленькой,
В зеленом саду под грушею;
Я сама сяду, послушаю:
Не стоит ли мать сыра земля?
Не вскрывается ль гробова доска?
Не встает ли мой сердечный друг?
Зарости, моя могилушка,
Ты травушкой, муравушкой!

Не достаешься, мой любезный друг,
Ни девушкам, ни молодушкам,
Ни своей змее-полюбовнице!
Ты достаешься, мой любезный друг,
Сырой земле, гробовой доске.

Во сыром-то бору брала Маша яголки:¹
Она, бравши яголки, заблудилася,
Заблудившись приаукиулась:
«Ты, ау, ау! мил сердечный друг!»
— Не аукайся, моя Машенька:
За мной ходят здесь три сторожа:
Первый сторож — тесть мой батюшка;
Другой сторож — теща матушка;
Третий сторож — молода жена.
Ты взойди-ка, взойди, туча грозная!
Ты убей-ко громом тества батюшку,
Молоницей ты сожги тещу матушку;
Лишь не бей ты, не жги молодой жены:
С молодой жевой сам я справлюся:
Я слезами ее, слезьми вымочу,
Я кручинушкой жеиу высушу,
Во сыру землю положу ее;
А тебя, Машенька, за себя возьму.

Как сватался Дмитрий-князь,²
Как сватался сын Васильевич,
Что на Домне, на Домиушке,
На Домне Фалелеевне,
По три года, по три месяца,
По три утра, по три вечера
От ворот не отъезжаючи.
Зазвонили ко заутрени,
Что к честной воскресенския;
Тут поехал Дмитрий-князь,
Поехал сын Васильевич,
Что ко той ко заутрени,
Ко честной воскресенския.
Кидалася Домнушка,
Домна Фалелеевна,
Во косяцето окопечно,
Что по плеч буйну голову.
«Уж вы нянюшка, мамушки,
Вы идите скоро ко мне,
Посмотрите на улицу:

Еще этот ли Дмитрий-князь?
 Еще этот ли сын Васильевич?
 Ах, пожища-то, что вилища!
 Ручища-то, что граблища!
 Головища, что пивной котел!
 Глазища-то, что ямища!
 Губищи-то, что палчища!»
 Как приходит Дмитрий-князь,
 Как приходит сын Васильевич
 От божьей от заутрени,
 От честной воскресенския,
 Говорит сестрице родимья,
 Настасья Васильевна:
 «Ты, сестрица родимая,
 Настасья Васильевна!
 Собери ты чествой пир,
 Не князьям, не боярам,
 Не княгиням, не боярыням:
 А для Домвы, для Домнушки,
 Для Домвы Фалелеевны!
 Скажи, что Дмитрий-князь
 Со князьями, со боярами
 Забавляется охотою».

(Мать уговаривает Домну не ходить к Настасье: она видела дурной сон; Домна не послушалась; на дороге отговаривали ее двое калики перехожие — Домна опять не послушалась).¹

Приходила Домнушка,
 Свет Домва Фалелеевна
 К широку двору Настасьину:
 Встречали тут Домнушку,
 Домну Фалелеевну,
 Все князи и бояра,
 Княгини и боярыни.
 Приходила Домнушка,
 Домна Фалелеевна,
 Приходила к новым сеням:
 Ее на сеничках встретила
 Ее верная подруженька,
 Настасья Васильевна.
 Говорит ей таковы речи:
 «Приходи ты, горделивая!
 Приходи-ка, ломливая!
 Приходи, *высокородная!*»²
 И ввела ее в вову горницу.

Там из занавески узорчатой
 Встречал ее сам Дмитрий-князь.

В то время у Домнушки,
 У Домвы Фалелеевны,
 Ноги резвы подломилися,
 Из глаз слезы покаталися.
 Из кладет она честный крест
 На свои-то на белы плечи,
 И молилась божьей матери.
 А потом в четыре стороны
 Всем князьям и боярам
 В шелков пояс поклонилася.

Тут Настасья Васильевна,
 Ее верная подруженька,
 Ее посадила за дубовый стол;
 Ее братец, Дмитрий-князь,
 Родимый сын Васильевич,
 Налил чару *зелена вина*,
 Подносил чару ко Домнушке,
 Ко Домне Фалелеевне.

«Ты прими-ка, горделивая,
 Ты прими-ка, ломливая,
 Эту чару зелена вина
 От ручищей, что от граблищей,
 От глазищей, что от ямищей,
 От главища, что пивной котел».

Что возговорит Домнушка.

Домна Фалелеевна:

«Ты позволь мне, Дмитрий-князь,
 Ты позволь, сын Васильевич,
 Мне съездить во чисто поле,
 На могилу к родну батюшке
 Попросить позволения.

А чтобы я не ушла от вас,
 Пошли спереди вожатого,
 А позади провожатого».

Приехала-то Домнушка,
 Домна Фалелеевна,
 На могилу родна батюшки,
 Соходила со добра коня,
 Стаивилась ва сыру землю
 И втыкала во могилушку
 Что два ножичка булатные
 И сказала таковы слова:
 «Не доставься ты, тело белое.
 Что не суки-то борзья!»

Не змеи заозерския!
Что не кобелю борзому». ¹

Много бы можно было сказать о лирической поэзии, много бы можно было привести примеров, но для основательного и сосредоточенного обсуживания такого обширного предмета нужна не журнальная статья, к спеху и сроку писанная, ² а отдельный трактат — плод изучения и обдуманного труда. Мы и так уже вышли из пределов журнальной статьи, увлекшись занимательностью, важностью и обширностью предмета, доселе нетронутого критикою и неизвестного публике. Посему мы принуждены были обо многом сказать наскоро и слегка, а многое и совсем пропустить: песни хороводные, святочные, шуточные или юмористические, разгульные требовали бы особой статьи. По крайней мере, мы утешаем себя мыслию, что первые заговорили о предмете, о котором другие только восклицали. ³